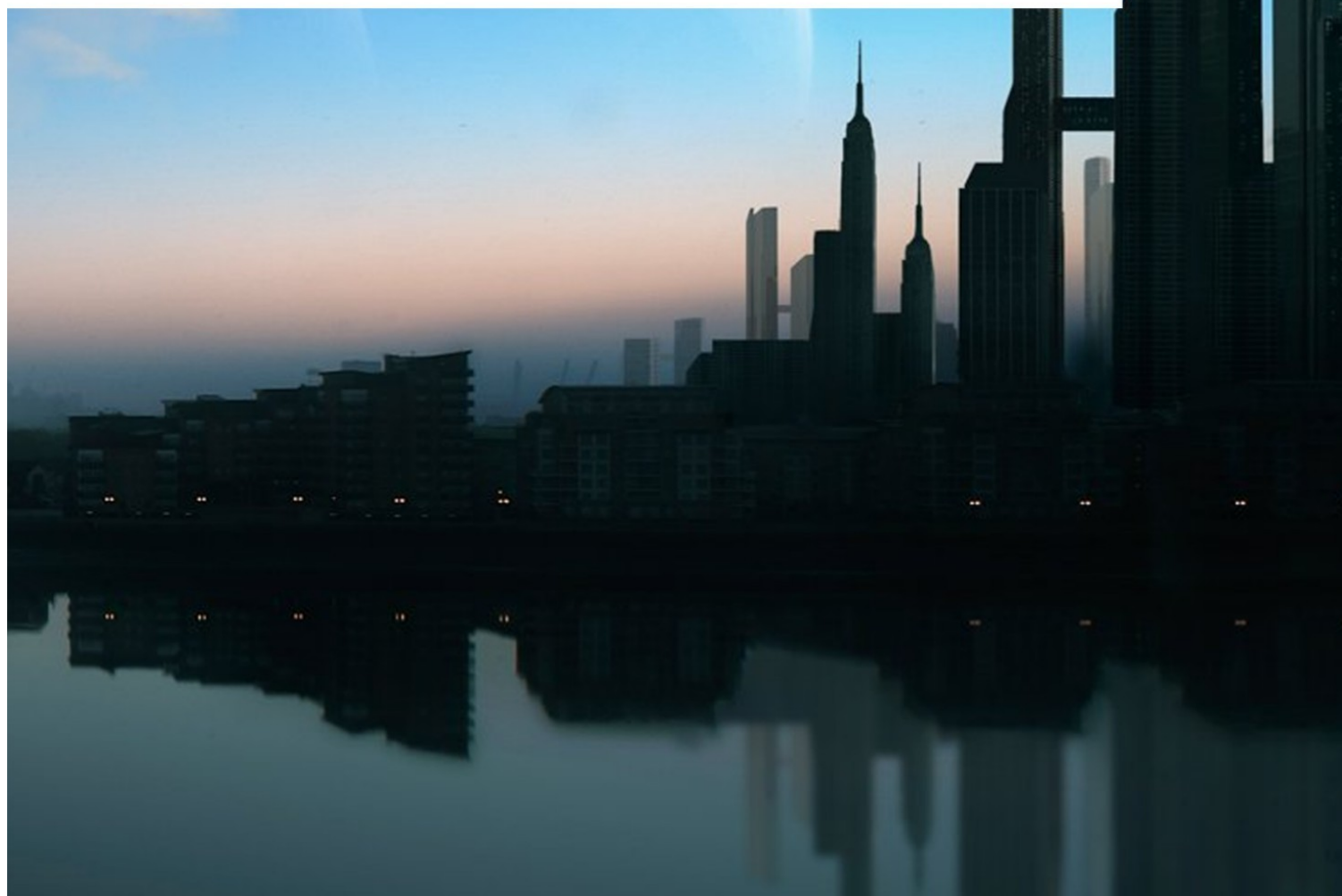


СОНАТА

# Василий ПУТЁННЫЙ



Василий Пүтённый  
**Соната**

«ЛитРес: Самиздат»

1986

## **Путённый В. В.**

Соната / В. В. Путённый — «ЛитРес: Самиздат», 1986

Павел Валунов, студент консерватории, создал сонату. Его обвинили в плагиате. Он ушел из консерватории, стал с горя пить. Дошло до белой горячки! Его забрали в психушку... Сын, беззаветно любящий отца, написав гениальную сонату, которую он исполнил в Кирилловской церкви, вернул Павла Валунова к жизни!

Контактные данные:

Василий Васильевич Путённый

Email: maximenkocatherine@gmail.com

Тел.: 044 512 38 36

050 659 73 35

От автора

События романа – так называемая Горбачевская перестройка, восьмидесятые годы. Автор вскрывает недостатки и пороки тех лет. Несмотря на одобрительную рекомендацию М.П. Стельмаха, классика украинской литературы, чинуши-критиканы не дали выйти в свет этому произведению. Даже, предположим, если бы роман «по-волшебству» опубликовали, то автора упекли бы в тюрьму, или – в дурдом, как и случилось с главным героем романа Павлом Валунным – музыкантом, композитором.

Автор благодарит Сергея Владимировича и Любовь Григорьевну Поштаренко за содействие в напечатании этого произведения, которое столько лет незаслуженно было в «забытьи!»

ВАСИЛИЙ ПУТЕННЫЙ

Василий Путенный

СОНАТА

РОМАН

Посвящается Светлане Васильевне Мельник – жене и другу

Глава первая.

I

Окна. Их так много, что не сосчитать. Сережка смотрит на них и думает: «Окна – не озвученные мелодией ноты. И солнце – самая звучная нота мироздания.»

В этом доме, что напротив, Сережкин отец ремонтировал и настраивал рояль. Во-о-он некрашенные окна второго этажа наглухо закрыты – хозяева, видать, уехали на дачу. Когда Сергей смотрел на рояль, весь в царапинах и вмятинах, будто по нему били молотком, ему казалось, что тот, отражая их с отцом, стонет как раненый. Мальчик видел, как дрожали руки отца, прикасаясь к струнам, и знал, что тот готов был изругать последними словами хозяев, а их толстозадого «паиньку», подбрасывающего то и дело перочинный ножичек, хотел хорошенько отшлепать.

«Варвары! Вандалы! – чуть было не закричал Павел, весь бледный, с подрагивающими губами. Так изуродовать святыню!».

Он обтянул белым войлоком деревянные молоточки, приклеил новые костяшки к незападавшим клавишам, починил педаль и потом стал настраивать изогнутым ключом инструмент, прислушиваясь к каждой ноте – как врач к сердцу больного. Звук летел высоко – опускался тая. Сергею казалось: живой звук не умирал – навсегда оставался в его сердце. Подравняв наждачной бумагой зашпаклеванные царапины и вмятины, Павел начал полировать, кругообразно нанося завернутым в марлю кусочком байки слой за слоем на поверхность, и улыбаю-

щелся Сережке хотелось хоть на минутку стать роялем, чтобы, остро пропахнув политурой, ощутить нежность и ласку отцовских рук.

Когда вышли на улицу, Павел нахмурено молчал, и Сергей, понимая, что на душе у отца нехорошо, тоже молчал. Он вспомнил лишь, как однажды сказал отец: «Пианино, рояли – ну как дети! Сколько среди них беспризорных, неухоженных?! А сколько больных?! Хочу всех их вылечить, чтоб потом лечили нас, людей, музыкой.»

И Сережке хотелось сказать: «Ты их вылечишь, отец, и они в каждой мелодии будут вспоминать тебя...» – Но не сказал – и вдруг покраснел, застеснялся своих мыслей.

Одни пешеходы спешили, другие – нет, словно счастье было у них на закорках, и они были уверены, что оно никогда не покинет их.

«Какие все задумчивые, серьезные, – старался незаметно всматриваться в лица прохожих Сергей. – Спешат, торопятся. А финиш будет? Жизнь бесконечна, она без финиша. Мне нравится этот эйфелевого роста дяденька с усами, как подкова. Но почему он оборачивается почти на каждую девушку и женщину, которые одеты в красивые платья и джинсы? Вот улыбнулся мне, подмигнул, похлопал по плечу, будто я его давний знакомый. И взгляд у него как пашлычный шампур, на который он нанизывает всех красивых девушек и женщин... и меня.»

На Крещатике, как всегда, многолюдно. Сереже, одетому в белую тенниску, очень жарко. Он вспотел и потому очень стесняется, ибо ему кажется, что все смотрят на его потное лицо. Он быстро, почему-то волнуясь, вытирает платочком лоб и лицо. Мальчик слышит альты, басы, тенора, баритоны, разговоры с акцентом и без, легкое шуршание автомобильных шин на дороге, шепотливость платьев и брюк – и все это для него живая, волшебная, радующая сердце музыка. Сесть бы сейчас ему за пианино – и польется-запоет из-под пальцев веселая и бессмертная мелодия жизни.

«Какое небо! – улыбается он голубизне, кареглазо глядя. – Люди, смотрите какое небо! Оно говорит нам о вечности жизни. Хочу его обнять, поцеловать. Оно, вероятно, пахнет вселенной».

Вчера Сергей с Володей Силушкиным ходили на вернисаж. Смотрели портреты, пейзажи, натюрморты Николая Николаевича Торова, живописца, которого очень любит Володя и старается ему подражать. «О, Николай Николаевич – психолог! – говорил Силушкин – Так изобразит человека, глаза его – почувствуешь и сердце, и душу его. Смотришь на портрет – и сострадание наполняет тебя, ибо видишь в глазах этого человека горе и печаль. Что ни говори, а Торов Николай Николаевич – Чехов в живописи!»

Друзьям очень понравился пейзаж, где голубело небо, под которым весело перешептывались колосья поспевающей ржи, а вдали зеленела полоска леса. Сергею казалось, что он шел этим полем, касаясь теплых поющих колосьев, и дышал духмяным запахом хлебов. Потом он долго стоял возле портрета старушки: на лице тайнопись морщин и морщинок и каждая из них как бы рассказывает о трудно прожитых годах. Сергей мысленно разговаривал с этой старой женщиной, сочувствовал ей, но чего-то все же еще не понимал и оттого испытывал чувство несказанного сожаления. Он смотрел на нее искренне, открыто, чуть стесняясь, боясь в ее присутствии сделать лишнее фальшивое движение, напускную мимику, желая в эти минуты сделать что-то хорошее и даже совершить подвиг во имя старушки. И уходить не хотелось из зала, все казалось, старушка обидится на него, заплачет. И взгляд ее – просящий, зовущий – он ощущал даже ночью, не засыпая, и знал, с ним он будет всегда.

Когда Сергей подошел к метро «Крещатик», электронные часы на фасаде показывали полдвенадцатого.

Навстречу Сережке бежит черно-белая кудлатая овчарка колли. Прижав уши и виляя хвостом, она тенористо поет радостную собачью песенку, приветствуя друга. Рута скромно-стеснительно понюхала хозяйственную сумку Сергея, стала лизать его руки и лицо, обмахивая хвостом как веером.

– Здравствуйте, Аделаида Кировна! – Взгляд хозяйки поднял мальчика с корточек. Женщина была в джинсах и цветистой заграничной блузе, в руках – поводок.

– Добрый полдень, Сережа! – напряженно улыбнулась, будто ее заставили.

Тогда, возле метро «Арсенальная» она так же улыбнулась, попросив Сергея помочь ей донести набитые чем-то тяжелые две спортивные сумки. Потом он познакомился с дочерью Аделаиды Кировны – Светой, которая сказала: «Не правда ли – моднецкое имя – отчество у моей маменции? Благозвучное и редкое. Вслушайся: А-де-ла-ида! Благородная значит. И корень-то какой – «дело»!»

– Скоро этой экспериментально-производственной мастерской не будет! – радостно сказала Аделаида Кировна, величественно взглянув на крыльцо проходной. – Написала в нужные инстанции, собрав подписи жильцов этого проулка. Даже, представь Сережа, ходила в Совмин. И детсадик здесь не построят, если снесут эту мастерскую, – я и этого добьюсь!

И словно дернула она что-то в душе мальчика, и понял он, с кем стоит, и рвалось наружу неосознанное отвращение.

– Кому, извините, нужен этот научно-технический прогресс в нашем тихом, с тополями и кленами переулке? – Не Сергею – кому-то другому говорила Аделаида Кировна, все так же глядя на проходную и веря в магическую силу своего взгляда. – Людям при нынешней демократизации и гласности нужен покой, а не это несимпатичное соседство! Да! За город, только за город их надо выдворить! Чего стоит их чудовище, на котором работяги по утрам клепают и чеканят что-то. Я не могу в такой шумной шумной обстановке с упоением читать на диване лирику Сантьяго Лопеса де Мендоса Иньиго. Совмин мне кардинально поможет – скоро здесь будет орудовать бульдозер! – Слово «бульдозер» было выкрикнуто громко и страшно, будто это огнедышащий дракон.

И опять показалось Сережке: что-то больно переставила она в его душе, и он с внутренней злобой вперился в ее холеное, ярко разрекламированное косметикой лицо.

Рута лизала ему руки, как бы доказывая свою доброту и уважение к нему, а он, чувствуя это и одновременно думая о другом, машинально гладил ее длинномордую голову.

«Чем она ей мешает... эта тихая мастерская?» – И сказал:

– Я пойду. Мне надо идти. – И такое у него в душе ощущение, словно она отобрала что-то.

– Сережа, надеюсь, что после посещения этого заведения ты непременно зайдешь к нам? Наша Лануся с огромным нетерпением ждет тебя! Она создала, на мой взгляд, гениальный опус. Вальс – скерцо! Обворожительная вещица, должна сказать!: Пофилософствуете о житие – бытие за стаканчиком коктейля, а потом помузыцируете в четыре руки.

Хотел ответить: «Не хочу! Не желаю!» – но желание услышать сочинение, написанное Светой, было настолько велико, что он сказал:

– Сегодня, к сожалению, не смогу. – И про себя добавил: «Может действительно шедевр. Надо послушать... Волосы какие-то у Аделаиды Кировны. Точно синькой подкрашены... Рута, я тебя люблю! Пока, собачушечка!»

– К отцу? – Улыбается, ласкает глазами вахтер.

– Да, дядя Гриша.

– Ну, заходи в дежурку, мой министерский кабинет – побалакаем о том– сем. Через окошко не сподручно.

– Ничего, Григорий Васильич, я здесь... – И покраснел, подумав, что не хорошо отказывать. Вообще-то, он хотел зайти в вахтерку, но, вспомнив, как вчера глянул-стрельнул на него мастер механического участка, передумал.

Сережке очень нравилась проходная с ее узеньким коридорчиком,

по деревянному полу которой, стуча каблуками, то и дело шли рабочие и начальство. Вертушка вращалась поскрипывая – считала стаж каждому проходившему.

– Проходная наша, что пристань, – говорит Григорий Васильевич – очки с треснутым стеклом на лбу, читал, должно, «Правду». – И ты к ей примкнул. Так ведь?: Вот и каникулы у тебя пошли, а летушко нынче доброе, солнечное! В какой классище перекочевал?

– В шестой.

– Время пролетит – проторопится, глядь – и нету годков, убегли, позади все, в воспоминаниях остались, а в награду седина. Вот и у тебя: школу скончишь, отсолдатишь посла, годки – прыг! – и нету, как воробей с ветки на ветку. Но не унывать, только не унывать! Печаль и грусть – плохи попутчики в жизни. Радость, веселость – вот это друзья, с ими не пропадешь нигдешечки! – Вздохнул: – И памятку по себе надобно оставить добрую. Довбенко, ты куда это? – привстав, обратился к выходящему.

– В лабораторку! Там бабахнуло щось, треба чинить! – и побежал – застучали ступеньки крыльца.

– Брешет, вижу по глазам брешет же, потвора! Вернется – по карманам полапаю как штык! У меня ядовочные изделия не пронесет! – И вдруг с лукавинкой улыбнулся, сощурился глаза и показывая железные зубы. – Слышь, Сережка, меня хлопцы Штирлицом прозвали. Ну этот... из «Семнадцати мгновений» который. Какой я Штирлиц? Тот и красивый и статный, мужик что надо, а я старик в башмаках ортопедических, с зубами Бабы-Яги. – И, шлепнув себя по лбу, сказал: – Вспомнил! Передай отцу чтоб штиблеты свои принес. Лапка у меня имеется – починю. А то замок сделал, на дверь поставил, ни копейки не взял.

Когда Сергей пошел, Григорий Васильевич, глядя ему вслед, словно благословляя, подумал: «Хороший парень! А у меня внуки...» – и раздосадованно махнул рукой как бы в их сторону.

Во дворе работает называемая рабочими «гильотина» – большое верхнее колесо подзенькивает, вероятно цепляясь за что-то. Александр Михайлович в кепке и синей спецовке, посвистывая, рубит лист железа на полосы. Он нажимает на педаль, тяжелый острый нож с рычанием опускается – и узкая полоска металла падает на землю.

Сергей стоит и ощущает, как от каждого удара ножа вздрагивает земля, и ему кажется, что она не то испуганно охает, не то тяжело вздыхает.

– Мильон раз говорил им об навесе, – сопит Александр Михайлович в надежде, что за спиной у него стоит мастер или начальник. (Человек вообще так устроен: высказывая в слух свои мысли и суждения, он думает, что рядом с ним стоит ученый муж или кто-нибудь «сверху», – услышат они – и авось все изменится к лучшему. Или, напротив, осуждая кого-то, надеется, что его поддержат, а виновники, быть может, перевоспитаются.) – А им все тринтравушка! Аквариумы, вентиляторы, теплые кресла под ягодицы – об этом они помнят!... – Оглянулся. – А – а, джигит, здоров-здоров!

Александр Михайлович поправляет кепку, поглаживает пальцами широкие – взлет – черные брови, усмехается. Вынул из кармана брюк красную коробочку и, открыв ее, лижет языком содержимое. Сережка обескуражен: «Неужели это вазелин или какая другая вкусная парфюмерия? А вдруг это мед – а?» Появляется властное мальчишеское любопытство, но отрок, прикусив нижнюю губу, подавляет его в себе, и незаданный вопрос останется в недрах сознания.

– А ты всегда слушай, что говорят старшие, и записывай на пленку памяти своей! – нажал на красную кнопку – и «говорящее» колесо мало-помалу стало замедлять свой ход, как будто

довольное предстоящим недолгим отдыхом. – В тебе наша рабочая, закваска, из теста простого – не сдобного – слепленный, и кровушка-речка течет в тебе нашенькая! – Они смотрели друг на друга, и Александру Михайловичу так хотелось иметь именно такого сына. – Вот, положим, Сережка, была б такая книга просьб – наших, рабочих. Так знаешь, из сотен страниц этой толстенной книги очень мало просьб выполнила вся администрация нашей страны. Хотя говорят и обещают очень вкусно. Одним словом, замах – рублевый, удар – ерундовый. Верю, Сережка, ты и тебе подобные, то есть ваше поколение, удовлетворите и реализуете все просьбы рабочего класса! Ведь если проявить заботу и уважение к рабочему, он отплатит сторицей! Что, калории принес батяне? – кивнул на сумку.

– Да...

– Чую носом: принес опять битки, картошку и чаек в термосе. Сам жарил-шкварил? Или мать?

– Мать с ночной еще не вернулась... – Сказал и показалось, что мать услышала это и даже все видит сейчас. Вот перед глазами извиняющаяся улыбка ее, Сергей почти явственно ощущает доброе стесняющееся прикосновение ее рук.

– Да не тушуйся ты как красна девица!.. Эх, мне бы такого повара – на руках носил! Пошли в цех!

На токарном участке гудят станки.

«Каждый обтачиваемый резцом металл звучит по-своему, – вслушивается Сережка. – У стали – своя нота, у латуни и алюминия – своя... Сколько звуков на участке, и все разные. Вон у токаря, что в защитных очках, под резцом попискивает – посвистывает латунь. Нет, это не какофония, это маленькая сонатина труда!»

Угрюмо-мудрый станок отца молчит. Болванка, зажата в патроне, наполовину проточена. Сергей подходит к верстаку, что у окна, прикасается к тискам и ему кажется, что тепло отцовских рук осталось на них. Ему хочется включить старенький станок и, услышав его басовитый голос, ощутив ветерок от патрона, доточить болванку. Он включив самоход,

не торопясь проточил бы ее проходным резцом, похожим на большой зуб динозавра, – стружка кучерявилась бы, звенела, падая в поддон. И так весело было б в душе его, словно там что-то улыбалось и танцевало. И чувствовал бы он ветерок радости, щекотливо касающийся сердца, и думалось бы, что точит деталь для спутника или космического корабля; и слышал бы теплое дыхание отца за спиной и его строгое: «Расслабся, Сережка, больше уверенности!»

Мальчику подмигивали, поднимали ладонь восклицательно, говорили: «А-а, Серж, приветик-приветик! Ну как делишки у мальчишки?» – и до того хорошо, будто все они родные братья его.

– Сережка, шагай сюда! – кричит на весь цех Александр Михайлович, и мальчику кажется, что все посмотрели на него, и он краснеет, как, бывало, в кругу друзей-одноклассников, когда пионервожатая говорила о нем.

Сергей идет через широкий вход на слесарный участок, отделенный стеной от токарного.

Жужжит сверлильный станок. Вон высокий парень, зажав в тиски алюминиевый кругляк, вжикает напильником – серебристая пыль металла ложится на ботинки. Сборщики склонились над серой продолговатой коробкой, внутри которой много шестеренок, и, перебивая друг друга, тыча в нее пальцами, доказывают что-то.

Александр Михайлович, верстак которого стоит рядом с конторкой мастера и впритык к обтерханной стенке, включил транзистор, чтобы, вероятно, утихомирить спорщиков. Из эфира несется:

– «Первое: поступайте с другими так же, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами, – говорил уверенным голосом ученый, понимая, что сказанное не панацея. – Второе: признайте, что совершенство невозможно, однако в каждом виде достижений есть своя вер-

шина, к которой необходимо стремиться. Третье: с какой бы жизненной проблемой вы ни столкнулись, взвесьте сначала, стоит ли она того, чтобы вступать в борьбу. Четвертое: если вам предстоит удручающе неприятное дело: вскройте нарыв, чтобы быстрее устранить боль. Пятое: чтобы научиться расслабляться, полезно овладеть приемами аутогенной тренировки. В этом вам помогут врачи-психотерапевты...»

Так, надо дать ему отдохнуть, охрип маленько, – Александр Михайлович выключил приемник. – Садись! – хлопнул ладонью по круглому железному стулу. – Отец сейчас придет – по делам пошел.

Александр Михайлович, сидя на стуле возле верстака, крутит валик на кронштейнах, прищурившись смотрит сквозь очки на стрелку измерительного прибора – та словно пульсирует. Улыбается – довольный.

– На таком рухлядом станке ДиПе – догоним и перегоним США – да такая точность! – восхищенно покачивает головой. Радостно посвистел. – Руки у твоего отца как у Страдивари! Бесценные – все могут! Валик точь-в-точь по чертежу, микрон в микрон. Без О Т К работать может – на всех деталях у него Знак качества!.. Вам бы так работать, бракоделы! – обернувшись, крикнул сборщикам.

Ему не ответили, делая вид, что не услышали и очень заняты.

В двух шагах от верстака Александра Михайловича стоит установка, похожая на большой шкаф с металлическими дверками и пластмассовыми оконцами, сквозь которые видны валики.

Сергей с умилением смотрит на установку. «Как шарманка, – хотел прикоснуться к обшивке. – Стоит нажать кнопку – заиграет-загрустит, времечко старое вспоминая.»

– Что, нравится детище мое? – Александр Михайлович подошел, похлопал Сережку по плечу. – Я памятник себе воздвиг... рукотворный! Чуток великого Пушкина перефразировал. Ну как – после школы придешь к нам работать?

– Приду... – И, вспомнив разговор с Аделаидой Кировной, поинтересовался: – А мастерскую не упразднят... не снесут?

– Снесут – в другом месте работать будем! Эти руки всегда в дефиците! – и показал свои огромные, загорелые – как два каравая – ладони.

Александр Михайлович зажег лампочку в камере и, открыв дверку, полез в нее.

– Сережка, – кричит как из колодца, – топай сюда! – Сергей подбежал. – Попродержи дверцу!

– Михалыч, может, останешься в своей барокамере? – кто-то из слесарей решил подтрунить.

– А кто план будет давать – ты, что ли? Ты же после опохмелки, зюзя, синусоиды выпи-сываешь на дороге!

– Не намекай, Саня, вырезвитель и по тебе плачет.

– Сережка, а ну заткни уши – я этому академику скажу пару нежных комплиментов! – Сергей даже зажмурил глаза. – Я пью за свои, не злоупотребляю, а вот ты, ханурик и крокодил, обираешь собственную жинку и детей! И не пошел бы ты, горчичник, мать твою с бабушкой и дедушкой!.. Сережка, ты, что, спишь? – высунувшись дернул его за брюки. – Масленку тащи!

Когда Александр Михайлович вылез и закрыл дверку, Сережка, волнуясь и смотря ему прямо в глаза, спросил:

– А для... то есть, что в ней будет?

– Окорока коптить будем, – усмехнулся Александр Михайлович. – Говорят заказ какого-то научно-исследовательского института бумажной промышленности. Кто его знает, может, в этой камере денежные водяные знаки будут проявляться?

Пахнет дымом горьковато-едким – кто-то работает на большом сверлильном станке.

– Снова этот экспериментатор пришел со скипидаром, – кто-то из слесарей недоволено.

– И нержавейка у него цесаркой кричит!

– Слушай, Шихман, кончай партизанить – нам не нужна дымовая завеса!

– Всухую никак нельзя, должна быть обязательно смазка, а то свердло сломается, – спокойно так, на полнo серьезе рассуждает Шихман, а Сережке показалось, что это он специально сказал неправильно «свердло», чтобы чуток рассмешить и смягчить сборщиков. И не без сквозящего в глазах ехидства добавил: – Я знаю, Фима, ты злишься за то, что я в субботу на ипподроме выиграл стoльник, а ты просадил зря четвертную. Говорил же тебе: ставь на гнедого русского жеребца Гран Лоу, а тебя Змей Горыныч дернул поставить на этого задрипанного вороного Тургора. Тут уменье, чутье, инстинкт должны быть в наличии, а у тебя этого комплекса полноценности вовсе нету. Тотализатор такая коварная путана: сегодня – я, а завтра – ты.

– Якшаешься с конюхами и наездниками – вот твой комплекс! Слышал я, как в пятом заезде один другому кричит: «Придержи мерина, финиш мой!»

– Не ерунди, Фима, никакого блата у меня нет. Все это кануло в лету.

Просто тебя зависть колошматит. А в пятом заезде, кстати, был мертвый гит, а в седьмом – экспресс, а в десятом – дубль. – И ухмыльнулся.

– Злорадствуй-злорадствуй! Не знаю я твоих терминов, скажу: жаль, что на конедром не ходят фанатики из ОБХСС. Был бы тогда полнейший ажур. А то куда ни глянь – одни аферюги!

– У ОБХСС другие, запрограммированные заезды. Короче, в воскресенье разыгрывается дерби – «Большой всесоюзный приз»! Идешь?

– Нет! Жена ультиматум поставила: «Или – я, или – кобылы!» Теща Ивановна поддержала: «Гадючник этот, говорит, – большая для семьи трагедия! Ты бы лучше, говорит, тапочки или комбинезон мне купил. Вон, кричит, Пепченко, твой друг, из второгодников который не вылезил, тещу на собственном «Запорожце» возит!»

– Шихман, кончай кадить и шуруй на свою антресоль!

Антресолью называют верхний полуэтаж слесарей-инструментальщиков, металлическая лестница к которому поднимается с токарного участка.

Отец задерживался. Александр Михайлович и еще трое рабочих очень нервничали, будто что-то случилось, похаживали взад и вперед возле установки, посматривая то в открытые окна, через которые была видна проходная, то на участок токарей – не идет ли?

– Где его черт валандает?! Желудочный сок уже выделяется, а печенка ерепенится всюю. Давай без него! Я буду тамада.

Сережке не понравилось до возмущения, что, говоря об отце, этот рабочий упомянул «черта», и он, волнуясь, жалея в душе отца, сердито исподлобья глянул на остроносого, с высокими щеками мужчину.

«Долгоносик»! – сказал про себя Сережка, считая, что этим смыл с отца грязное, липучее слово.

– Идет, слава богу! – сказал «долгоносик», радостно потирая руки, шурясь и улыбаясь чему-то.

Павел взял «тормозок» у сына, пошел с друзьями в бытовку, что была за конторкой мастера. Коричневая обшарпанная дверь, мякнув, захлопнулась, и Сережка стал терпеливо ждать отца. Чтобы не подумали, что он ненароком подслушивает чужой разговор за дверью, он ушел на токарный участок.

### 3

Тень от домов и деревьев какая-то унылая, усталая, разморенная, и она, бессильная перед торжествующей, ярко-хвастливой жарой, хочет быстро спрятаться в прохладные подвалы, подъезды и квартиры людей. Она, эта тень, вовсе не тихая, – Сережка это точно знает.

Она нежно шепчет ему что-то Моцартовское, Шопеновское. А высокорослые тополя, на которые он улыбаясь смотрит, изредка тихо аплодируют листвою солнечному дню.

Мальчик шел рядом с отцом и ему казалось, что отец знает, о чем он сейчас думает.

Павел Валунов не хотел ни о чем говорить, ибо все, сказанное бы им сейчас, думал он, было бы неинтересным, обычным, банальным. Он страшно не любил пустословия и фальши в речи, в особенности – краснобаев и велеречивцев, и, услышав нечто подобное от них, громко говорил: «Умные люди высказывают мысли, вы же, красноперы, стараетесь украсить фразу фольговыми словесами!»

Желваки у Павла прыгали и ему хотелось сейчас убежать в лес, уехать в любую глухомань, чтобы спрятаться от шума улиц, от однообразных голосов, от житейской суеты. Апатия и хандра, поселившиеся в нем с недавних пор, напрочь душили в душе жизнелюбие и радость.

Убежать, уехать... Куда? Зачем? Он знал, что там, в уединении, ощущая изморозь одиночества, ему будет еще скорбнее и тоскливее, и то, что сейчас мучает, будет там еще больнее. И захочется крикнуть, и эхо души, пронесясь птицей над человечеством, улетит во вселенную, чтобы потом снова вернуться в свою обитель. И только сердце поймет его, только оно успокоит, но не вылечит от боли; и еще – музыка, дарящая воспоминания первой любви и детства – тихого и немножко грустноватого.

«Может, у отца гипертония? – спрашивал себя Сережка. – Какое красное лицо!»

В эти минуты мальчик терялся, не знал, как ему быть, о чем говорить. Он даже немного побаивался отца, думая, что тот, если он спросит невпопад, может грубо оскорбить его. Поэтому его состояние было похоже на состояние человека, попавшего в запутанный лабиринт. Через минут пять природная жалость к людям и сыновья любовь подтолкнули его к уверенности.

–  
Отец... у тебя перед глазами  
мельтешат... мушки?

–  
Побежали!

Когда перебежали улицу, Павел улыбнулся, присел на корточки перед Сережкой и взглянул на него так, что у того что-то внутри зашевелилось, коснувшись горячим сердца.

– Мушки? Какие мушки? С чего ты все это взял?

Сергею было стыдно глядеть на отца сверху вниз – как на провинившегося великана, ставшего вдруг карликом. Он заметил, что прохожие обращают на них внимание – будто они, два странных типа, здоровенный дядька и пострел, нарушая каноны пешехододвижения, делают посреди тротуара недозволенное – черт-те что!

– Отец, встань... пожалуйста!..

– Не робей, Серега! – громко говорит Павел – будто наперекор и назло кому-то. – Смело, открытым взглядом смотри на это небо, на эту жизнь! Это все твое! Ты живая частичка бытия, атом жизни – так живи! Доказывай свое право на жизнь каждый день!

4

Старые дома похожи друг на друга. Мудрые, немного высокомерные, немало повидавшие на своем веку, они – как старики на молодежь – смотрят с некоторой завистью, опаской и недоверием на новые дома.

Подходили к дому отца.

Сережке казалось, что вот сейчас выйдет навстречу им Настасия Гавриловна. Он хорошо помнит свою бабушку, мать отца. Зажмурит глаза – и обязательно увидит ее, глядящую из окна – как фото на память. «Видишь, внучонка, сосульки-хрусталинки свисают с крыш, а зимазимушка добрая постелила на каждом карнизе перед окошками белые рушнички». И что бы ни

говорила Настасия Гавриловна – все звучало для Сережки, обнимающего бабушку, музыкой сказки, счастья, добра.

И это добро и счастье были не только его, но и всех людей. И не хотелось идти ложиться спать, потому что речь бабушки – чувствовал мальчик – рождает в нем что-то новое, хорошее, даже бессмертное. Он считал Настасию Гавриловну волшебницей, доброй феей, которая должна была принести счастье – всем-всем! Он повторял себе раз двадцать, что он должен встать за полночь. Ночью на цыпочках подходил к бабушкиной кровати и, вслушиваясь в ее тихое сопение, напоминающее свист сквознячка, то и дело твердил про себя: «Живи, бабунь! Живи, родненькая, всегда!» И не верил Сережка, да и никогда не поверит, что умерла Настасия Гавриловна, – слышит он ее, ходит она всегда с ним рядом, направляя его к хорошему, нежному, светлому. И кажется порой, что сердце у него в груди бьется бабушкино, и душа в нем ее, и мысли. Стало быть, живет бабушка, но только в нем.

Во дворе ребятня играет в футбол. Красные, вспотевшие, в майках и без, толкаются, сбиваются в кучу, кричат, возмущаются – будто не мяч у них под ногами, а их слава и будущность. И над всем этим, – взлетая высоко-высоко в небо, – озорной всепобеждающий смех.

– Серя, бегом к нам! – увидели друга с отцом. – Будешь голкипером или центровым!

– Я сейчас, ребятки, вот только на минутку домой! – почувствовал Сережка горячо захватывающий его азарт.

– Только живо – не копошись!

В комнате у отца убрано, чуть шевельнулась от сквозняка оконная занавеска. Под столом две пустых бутылки из-под пива – Сергей заметил их еще утром, когда пришел убирать. Пахнет столярным клеем и политурой – значит, отец настраивал и освежал свое старенькое пианино фирмы «Беккер». Вот почему кончики пальцев у него в черном лаке, который ни пемзой, ничем другим не отмоешь.

– Спасибо за уборку. Опять мало спал? – плюхнулся на обиженно вздохнувший диван напротив фортепиано. – Да сними ты с себя этот ангельский вид! Садись!

Сын подошел, сел возле отца. Ему так хотелось прижаться к отцу, а больше всего хотелось, чтобы отец или обнял его, или просто положил свою руку на его плече. Мальчику порой казалось, что отец почему-то не любит его, даже злится, что он есть, живет, спит, обедает, ходит, читает, разговаривает.

– Ты не ответил на мой вопрос?!

Сергей чувствовал, отец смотрит строго, и мальчик думал, как и что ответить ему, чтобы погасить непонятно отчего возгоревшуюся у него злобу. Врать он не хотел, это был для него самый большой грех – все равно что оскорбить, унижить и предать собственную совесть.

– Я сплю...

– Я повторяю, ты мало спишь! Мало! Мало! Потому бледный и худющий!

Павел кричал громко, не обращая внимания на шаги спящих по коридору соседей. И чем громче он кричал, тем сильнее Сережке хотелось плакать. Но он не заплакал, крепко держа волей поводки чувств. И вдруг посмотрел на отца бесстрашно, не по-мальчишьи гордо, и Павел увидел – сын смотрел его вглядом.

Грубость отца, его сиюсекундная жестокость и этот холодный страшный голос, бьющий очень больно по сердцу, заставили мальчика молчать. И он не произнес бы ни одного слова, если бы отец не снизил тон и не стал чуточку ласковее. И Павел это почувствовал. Он понимал, что с ним что-то происходит. – он стал другим, совсем другим, не тем, кем был раньше.

– Прошу – не надо так часто у меня убирать... – Стал ходить по комнате, стараясь ходьбой успокоить себя. – Я... я и сам могу.

„Не обижайся на меня, отецушка!.. Сделаю так, как ты хочешь... А бледный я – капилляры ленятся румянить щеки.“

Сергей не знал, почему его родители живут врозь. Спрашивать он не смел, предчувствуя, что взаимоотношения взрослых настолько сложно переплелись, что это не доступно детскому пониманию. Но очень любя мать и отца, желая, чтобы они жили вместе, и не зная, как это сделать, мальчик очень страдал, чувствуя горечь и печаль, звучащие у него в душе по-баховски.

Отец приготовил яичницу, салат из помидоров и огурцов, и они с Сергеем стали ужинать. Потом отец встал из-за стола, быстро вышел на кухню и вернулся с искривленным ртом, будто съел что-то невкусное. Подув в кулак и понюхав кусочек хлеба, он вздрогнул как от озноба. Он ничего не ел, а только улыбался, будто улыбка была единственным удовольствием в его жизни.

– Мать дома? – В глазах отца, казалось сыну, не было прозрачной глубины, отражающей мысли и чувства, – одна лишь муть, надолго спрятавшая под своей ряской все нежное, светлое, хорошее.

– Мать на работе...

– Понятно... Трудно вам будет с матерью. Жизнь – не Дворец культу-ры. Хотя на театральное зрелище похожа. Трудно вам будет потому, что вы не артисты. У каждого артиста в жизни должно быть свое амплуа. Ни у тебя, ни у матери его нет. У меня тоже... Все места в жизни хороши – и на галерке, и в партере, но главное: слышать боль ближнего, вовремя отозваться. Но самые первые места, знай, взрывоопасные, они заминированы завистниками! – И, вздохнув, остановился возле сына. – Я боюсь за тебя. Природа-старуха не сыпнула в твой характер аджики – а надо бы!.. Я хочу, чтобы ты в этой жизни был не хилой березкой, а мускулистым дубом, могущим выдержать любую бурю! Таким был Бетховен! Да, таким!

Павел подходит к пианино и, поглаживая стопку нот, смотрит на портрет Бетховена и Ференца Листа – словно они его родные братья, которым он может поведать самое сокровенное. Он садится на табурет, закрывает глаза – и оживает бессмертная «Лунная» соната Людвиг Бетховена, которую маэстро посвятил возлюбленной своей Джульетте Гвиччарди.

«Четырнадцатая фортепианная соната Бетховена – до-диез минор, – улыбается Сергей композитору, и ему кажется, что он дышит не воздухом, а гениальным шедевром. Соната живыми, волнующими звуками рассказывает о великом музыканте и его жизни. – Соната-фантазия – так называл ее Бетховен. Однако Рельштаб, немецкий поэт, очень любивший музыку Бетховена, назвал ее «Лунной»... Она звучит во мне как в храме! Я словно стал сонатой, отец! Мне хочется плакать, ибо все так понятно, осязаемо, чисто-прозрачно... это то, к чему должен стремиться каждый! Великая печаль великого человека... Соната эта – живительный оазис в музыке... источник, из которого мы пьем – чтобы жить! Я учусь у Вас. Бетховен, понимать людей и жить!..»

Сережка внимательно слушал и догадывался, что отец рассказывает и о своей жизни.

Павел долго не открывал глаза – соната все звучала в его сердце, и казалось, она бесконечна как и космос. Он осторожно опустил крышку пианино, словно положил красную гвоздику на могилу гениального композитора.

– Музыка Бетховена, сын мой, рождает в человеке человека!

– Сергей! Сережка! Вы-хо-ди! – дружно кричали за окном.

– Иди поиграй – чего стоишь?

Когда Сережка вернулся, отец спал. Двухметровый, коромысло в плечах, он казался сейчас слабым, беззащитным. И выражение лица было такое, словно у него отняли что-то дорогое, сокровенное и никогда не вернут.

Сын подошел, прислушался к горячему дыханию отца – что-то в горле у него забулькало, захрипело, и Сергей подумал, что ему плохо.

– Отец! – ласково прикоснулся к плечу, но в ответ еще громче и быстрее захрипело и забулькало.

Сергей хотел было потрясти отца за плечо, но побоялся разбудить. Приложил ухо к тяжело дышащей груди – сердце торопилось, тревожно стучало, словно говоря своему облада-

телю, что очень устало и хочет отдохнуть. Отрок сел на стул возле дивана, внимательно вслушиваясь в каждый звук, готовый, если понадобится, побежать на улицу к телефонной будке.

– Жанна...это ты?! – стал говорить Павел сквозь сон.

«Он бредит, – мелькнуло у Сережки. – Жанна – кто такая?»

– Какого черта пришла?! – с хрипом продолжал Павел. – мало сожрала жертв, пирания, акула?! Изыди! Прошу! Умоляю – изыди! Опять этот валун...этот валун!.. Он раздавит меня!.. – Потный, мотая головой из стороны в сторону, пытается оттолкнуть от себя что-то. – Прошу, люди, освободите меня!..Бюрократы – кровососущие клопы в нашем обществе...Социологи, право...правоохранительные и юридические органы бессильны перед всемогущей монополией бюрократизма. Клопов нужно уничтожать хлорофосом! И еще: надо пропылесосить наше общество хорошенько, чтобы ни соринки, ни пылинки, ни грязинки не было!.. Ты опять явился, свинойрылый лизоблюд?! И тебя, инфузория поганая, нужно уничтожить дустом!

Сергей, едва касаясь щеки отца, целует его и слышит:

– Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог! – И, перевернувшись на другой бок, говорит: – Это ... это не я – Державин сказал!

## Глава вторая

### 1.

Сергей медленно шел по горячим мраморным плитам к обелиску. Мемориальные доски как пюпитры с нотами реквиема. Мальчик слышит: голоса погибших громово вздымаются хоралом в небо. И в сердце своем, ставшим огромным как вселенная, слышит он много-миллионный стук сердец всех павших.

Он очень волновался, не стесняясь слез своих. Когда ложил сирень у обелиска Славы, казалось ему, все погибшие смотрели на него, и среди них – его дед, пропавший без вести.

Кресало памяти давно высекло в сердце отрока искру – и горит в нем вечный огонь благоговения. И все кажется Сережке, что если прикоснется к обелиску, то услышит, как бьется живое сердце Неизвестного Солдата.

«Это память твоя, твое бессмертие горят огнем!» – Сергей неморгающе смотрит на вечный огонь и видит перебинтованного – всего две амбразурки для глаз – солдата.

Клиника, где работает мать, была недалеко от Киево-Печерской лавры.

Во дворе больные – кто сидел, кто ходил. Глаза у них были не такие, как у здоровых, – тяжелые, заполненные мыслями о болезни, и искринка надежды глубоко утаилась в их недрах, – сколько ни гляди, не увидишь ее. Как заблудившийся в пустыне странник жаждет глотка воды, так они жаждут вернуть навсегда ушедшее от них здоровье.

Два молодых врача быстро прошли мимо Сергея, и высокий, с черной папкой в руке, сказал:

– А у этого, у Синюхина, цирроз печени.

Как-то легко, спокойно, как обычно о чужих людях говорят, было это сказано.

Сергей, конечно, не знал этого Синюхина, никогда не видел его, а если б и хотел увидеть, то ему не разрешили бы войти в палату тяжелобольных, но диагноз, сказанный походя одним из врачей, болью проник в его сердце, вызвав чувство мучительного сострадания. Мальчик вдруг вспомнил Клода Дебюсси, великого французского композитора, которого играл ему отец, когда он болел.

«Синюхину нужно играть каждый день! – убежденно думал отрок. – Только музыка его вылечит.»

Анна, мывшая окна палаты, увидела сына на аллее, радостно и стесняясь замахала рукой.

Серезка – как на картину – смотрел на вымытые матерью окна, в которых отражались солнце, голубое прозрачное небо и вся как бы обновленная, тоже свежевывмытая природа. И нежно, с грустинкой полилась в его душе волнующе-плачущая музыка. И плакать хотелось Серезке, ибо жизнь и прекрасна и грустна.

– Серезенька, сыночек!.. – тихо сказала подошедшая мать, и ему показалось, что она спрятала его под свое теплое материнское крыло. Анна стояла в белом халате – бледная, глядя чистыми скромными голубыми глазами.

Сергей поцеловал мать, взял ее руку, прикоснулся губами и прижал к своей щеке: «Я люблю твои руки – добрые, трудолюбивые. Люблю твою улыбку – стеснительную и словно извиняющуюся. Люблю глаза твои, в которых – весь мир. Моя родная, милая, хорошая мамушка!»

Он видел: мать очень устала, даже слова, сказанные ею, – тяжелы, навьючены усталостью. Поэтому он не хотел спрашивать у нее о Синюхине.

Халат бы ему – он в миг бы отшвабрил все полы палат и коридоров, поднес бы кому нужно подкладное судно, вымыл унитазы и раковины, не забыв посыпать пол хлоркой

– Попросила сменщица моя – дочка ее в роддоме. А ты не волнуйся, сынок, приду вечером.

«Ну почему я не имею права помочь своей матери? Пусть шла бы домой, а я вместо нее!»

Он провел мать до двери корпуса, она поцеловала его и ушла к больным. Он долго стоял у двери, и в воображении видел бегающую от койки к койке мать, – стон стихал, когда она подбегала к больному и, чутко приподнимая его, говоря что-то ласковое, давала ему лекарство или попить воды. Снова посмотрел на окна третьего этажа, но матери уже не было. Сколько окон перемыла она – вероятно, целый город получился бы.

Сергей сел на скамейку, невольно слыша чужой разговор.

– Ты же смотри у меня – ешь все, что приношу, и никому ничего не давай! Ты же у меня такой: обмажут голову навозом – смоешь и будешь молчать! И бутылки, дурачок, не давай санитаркам! Пять бутылок – это ж полкилограмма «Отдельной»! Ты же у меня дурачек!

Бабочки словно играют в пятнашки. Вот одна из них, устав, села на газон – как крохотный белый парус на зеленой глади травы.

Сергей улыбнулся бабочкам, подумав, сто сидящая рядом с ним женщина похожа на шмеля, который жадно высасывает нектар из каждого цветка.

## 2

Это «Беккеровское» пианино подарил Сергею отец. Павел купил его не в «комиссионке», а у одного незнакомого столяра. Когда Валунов увидел старенький, сиротливо стоящий в углу сарая инструмент, весь в пыли и паутине, на котором лежали деревянные бруски и стружка, он, вспыхнув, с перекошенным ртом налетел на хозяина, схватив его за лацканы пиджака: «Что же ты, ты что же, дебил, делаешь?! Да тебя!.. Тебя надо!.. Да из-за таких, как ты!..» – «Тю, да бери ты его даром! – не на шутку испугался сумасшедшего взгляда незнакомца. – На кой ляд оно мне сдалось! И не трясина ты меня как бабу-изменницу!»

Павел с презрением, ненавистью смотрел на коренастого крепыша, обжигая взглядом, а тот, боясь взглянуть на «психа» /вдруг ударит!/, быстро сунул полученные деньги в карман и убежал от греха подальше.

Когда Валунов привез натерпевшегося горя «бедолагу» на загородную дачу к Александру Михайловичу, он первым делом осмотрел его. Деревянные части фортепиано были точечно-жестoko изъедены шашелем, струны были ржавыми, но дека была целой, и это очень удивило Павла. «Инфаркт не случился, – обрадовано подумал он и похлопал инструмент по крышке, словно друга по плечу. – Ты будешь, дорогой, жить и радовать людей! – И вдруг поугрюмел лицом: – В глазах этого худо-столяра – лишь деньги и выгода. Сколько таких, мешающих нам?»

Короста на теле общества! Может, компьютер такой придумают: чист душой, добросовестен – проходи на завод, а болен нерадивостью – лечись!»

...Сергей сидит, не желая пока прикоснуться к клавишам пианино. Ему кажется, что книжный шкаф, письменный стол, стулья, диван, шкаф, телевизор, люстра и кровать матери внимательно, чуть ли не по-человечьи смотрят на него и ждут чего-то. Улыбаясь посмотрел на проектируемые солнцем два красивых, с узорами прямоугольника на потолке; колеблются, – это ветерок нежно тронул занавеску.

Серезка встает и, склонив голову, минуту стоит молча.

– Бартоломео Кристофори, спасибо вам за то, что вы изобрели фортепиано! – вполголоса, волнуясь, говорит он. – Отец, спасибо тебе за подарок! – и нежно, стесняясь, гладит инструмент.

Он снова сел на табурет. В сознании поплыли – одна вслед другой – строчки, детские, легкие, простые. Он, закрыв глаза, видел мать, и музыка от начала и до конца прозвучала в нем тихо, нежно, материнским голосом. Эта песня родилась в душе сразу – может быть, так соловей «сочиняет» свои предрассветные зорьки.

Сергей, нежно касаясь клавиш, тихо поет:

Мама мыла небо,  
Песенные выси,  
Чтоб прозрачней были,  
Голубее, чище.  
Мыла галерею  
Утренних портретов –  
Солнце над домами  
Усмехалось ей.  
Мама мыла Землю,  
Землю мыла мама,  
Чтобы ни грязинки  
Не было на ней.

И заплакал... быстро вытер слезы ладонями, будто стоял перед ним строгий учитель и менторски говорил: «Боже ты мой, какие сантименты! Сколько нытья и слюнопускания!»

Сергей гордо вскинул голову, еще раз повторил песню – и въедливый шкраб исчез из воображения; мальчик радостно улыбнулся.

– Ветерок колышет занавеску. А может, это бабушка моя превратилась в ветер, напоминает о себе?

Он вспомнил, как Настасия Гавриловна раненько утром собиралась в церковь на обедню. Маленький Серезка из-под одеяла видел, как старушка аккуратно, пошептывая что-то, положила снесь в беленький платочек. А бывало, в тот же платочек она заворачивала кулич и просвирку. Мальчику мерещилось, что он слышит перезвон благовеста. И страшно и тоскливо становилось внуку, и казалось ему, что Настасия Гавриловна навсегда уходит от них. «Бабунь, куда?» – спрыгивал с кровати, подбегал, хватая за траурно черное платье. «Молиться, внучонка.» – «А ведь, говорят, бабунь, Бога нету. В школах, в институтах, везде говорят.» Солнцеоко улыбается старушка, целует внука, словно благословляя. «У каждого в душе, внучонка, он есть!» – «И у злых, недобрых есть тоже?» – «Нету. Не подарил им Боженька ни лучика добра, щедрости человечьей – потому они и злы, вредны, жадны. Шиты они, внучонка, нитками, которы смочены ядом зависти, злобы... Кто ласков, внучонка, тот и добр, а кто добр, тот и счастлив.» – «Бабунь, зачем ты молишься?» – «Молюся, чтоб войны не было. За усопших молюся, за погибших солдатушек наших. За всех молюся, чтоб жили праведно, по-доброму». – «Возьми меня, бабунь, помолиться и я хочу за всех!..» – и плакал, ибо больше ничего не мог сказать.

Умерла Настасия Гавриловна, и Сережка до сих пор никак не может понять, не входит в его сознание заиндевелю страшная мысль: была, жила старушка – и вдруг не стало ее, никогда не будет. И когда однажды пошел во Владимирский собор, куда ходила молиться Настасия Гавриловна, услышал ее волшебного-ласкового голоса, и все казалось, где-то рядом ходит она, наблюдает за ним.

– Привет! Опять не запер дверь? – Сережка вздрогнул – сладко-приятный наркоз воспоминаний исчез, как бы схлынув. – Ты же не «йетти», не реликто-вый гоминоид, это ему не нужна дверь, – слышит он позади знакомый веселый альтист и улыбается.

Оксанка кокетливо садится на диван.

Да, он действительно забыл закрыть дверь. Это всегда случалось с ним, когда он, боясь потерять рвущуюся наружу мелодию, хотел, прибежав с улицы, тут же ее проиграть. Ему стало неприятно от мысли, что кто-нибудь, проходя мимо незапертой двери, мог услышать его песню.

Сережка смотрит на улыбочное лицо подруги, на карие, звучащие для него музыкой Шопена глаза, на белую блузку, прическу «под мальчика», и ему кажется, что невидимый шприц вытягивает из него прежнее неприятное ощущение.

– А ты знаешь, Сережка, я вовсе не жалею о том, что не поступила в хореографическое училище, – стала говорить Оксанка, продолжая вчерашний разговор. – Пластичность, координация движений, чувство ритма – все это у меня есть, но коленки, они-то меня и подвели. Они у меня торчат почти как майонезные баночки. Поэтому при отборе приемная комиссия забракела меня. И правильно: у балерины должен быть внешний эстетичный вид. Но я кое-что знаю. Хочешь – покажу?

Сергей, улыбаясь, одобрительно кивнул головой.

Оксанка походкой балерины вышла на середину комнаты, остановившись под трехпланной люстрой. Когда она грациозно шла, на нее, стройную, голенастенькую, было приятно смотреть, и она знала, что Сережке очень нравится ее «играющая», как меха баяна, юбочка – так он назвал ее.

Девочка, шутливо посерьезнев, подняла руки, как это делает массовик-затейник.

– Прошу превратиться во внимание и сосредоточиться на мне! – не без усмешки приказала она. – Первое упражнение: бризе! – произнесла она и, подпрыгнув, развела руками. – Баллоне! – подпрыгнула на одной ноге и чуть не упала – коврик скользнул по паркету. – Последнее: дегаже! – Переминается с ноги на ногу, потом вдруг присела на корточки и засмеялась: – А это... это я не умею. Концерт окончен – прошу дать занавес!

Сергея не интересовало: верно ли она это выполняет, ему хотелось, что бы она всегда так дурачилась и шутила, сама радовалась и других смешила. С ней, Оксанкой, подумал он, всегда весело!

«Ты прекрасна, Оксанушка! Мне хорошо с тобой, словно ты моя родная сестренка!»

– В зоопарке сегодня была. – Опять села на диван. – Бегемота видела. Сидит в бассейне, лежебока, одни глаза торчат над водой как перископы. Хитро так смотрит на меня, словно спрашивает: ты чего это без печенья ко мне пришла? Дикобраза видела с длинными иглами. Один гражданин с симпатичными усиками – зоолог, вероятно, – сказал, что есть и некоторые люди, обросшие такими невидимыми ядовитыми иглами, которыми они всех жалят. А медведь мечется по клетке, зло смотрит на посетителей и говорит словно: эх, ребята-люди, у вас хоть два выходных, а у меня – ни шиша! А за вольерой, знаешь, кого я видела?

– Представителя северной фауны – оленя.

– Олень, кстати, облокотиться на парапет не может! Я просто неверно сформулировала, но это был Володя Сивушкин. Он изучал типаж: очень внимательно, вприщур глядел на пузатого дяденьку с двойным подбородком – вероятно, мясник. Я подошла, и Володя показал мне рисунки в альбоме. Там было очень много пейзажей, эскизов, а в самом конце – уникальная коллекция центавров. Ну, например, голова того мясника с двухэтажным подбородком, а туло-

вище бегемотье. Или: милостивая девушка с глазками ангелочка, а он взял и пририсовал к ней змеиное туловище. Одним словом, у него в альбоме много животных с человеческой головой.

– Как бы гибриды.

– Вот-вот. Спрашиваю: «Зачем это тебе?» – «Ты знаешь, отвечает, я три года искал их в зоопарках и других местах. Каждый день охотился за ними.» – «И что же, спрашиваю, ты будешь делать с этими получеловеками?» – «А вот, если стану художником, напишу огромную картину-фантазмагорию. На Земле должны жить люди, а не какие-то centaury!»

И захотелось Сережке в эти минуты увидеть своего друга – он его очень любил. Даже показалось: вот открывается дверь – и на пороге веселый, улыбающийся Силушкин.

– Представляешь, Сереженька, он хотел написать письмо Рейгану, но передумал, сказав: «Хоть он и господин президент, но все-таки маленькая шестеренка в механизме капстроа. Большущие, говорит, шестерни – толстосумы, бизнесмены, то есть жадные мира сего, – приводят в действие этот механизм. А войны, говорит, агрессии, борьба за рынки сбыта – это как бы смазка для ржавеющего этого механизма.» А вообще-то, он, Рейган, – самый отъявленный пацифист! А Пентагон, этот военно-промышленный пятиугольник, – это змеиный серпентарий... Потом мы с Володей говорили о компьютерах, о перестройке, о новой школьной реформе. И я сказала, что всем учителям надо знать: трудных учеников не бывает, есть труднейшая к их сердцу дорога; пора перекинуть мост понимания, чуткости и доверия через реку отчужденности! Хорошо сказала – верно? Это можно было бы сказать с кафедры или высокой трибуны!

Сергей, как святыню, взял что-то белое с письменного стола, подошел к Оксанке.

– Возьми. – Он взволнованно протянул большой белый конверт с пластинкой, будто это было самое сокровенное в его жизни письмо, в каждой строчке которого билось, как сейчас, его сердце. Это были волшебно звучащие, лечащие человеческие сердца и души сонаты Бетховена: «Лунная», «Патетическая», «Аппассионата», «Аврора».

Оксанка нежно, как дитя, прижала к груди пластинку и тихонько, как брата, поцеловала Сережку – мальчик, едва не плача от счастья, почувствовал: теплый лепесток розы коснулся его щеки.

Он рад был, что она молчала, и это молчание было для него счастьем, и он смотрел на девочку как на божество, которое никогда и ничем не обидит.

«Как жаль, что я не умею рисовать. Я бы хотел нарисовать тебя, Оксанушка, – нежная соната моего сердца!»

### 3

Интересную книгу о Николло Паганини прочитал Сергей. Уставшая мать спала, а он на цыпочках вышел на кухню и до утра, сочувствуя и страдая, жил судьбой великого маэстро. Порой ему казалось, что он смог бы повторить эту жизнь. Потом он прочел статью в газете, в которой автор на основании подлинных документов и фактов доказывал, что Паганини был очень обаятелен и даже по-своему красив – там же, над монографией-статьей, помещался портрет великого скрипача.

«Кому же из современников – а может быть, коллег – понадобилось так оклеветать имя гения, сделать его уродцем, чуть ли не колдуном? – рассуждал Сережка, выходя из метро. – Искусство должно жить без зависти! Паганини играл на скрипке, звуки которой проникали в сердца. Он хотел сделать людей добрее, чище, искреннее. В душе каждого человека есть струны, пусть же они не ржавеют, а всегда звучат музыкой добра!»

Он стал думать о книгах. Каждая прочитанная книга ложится в ячейку памяти, ни одна из которых не должна пустовать – словно соты, заполненные медом знаний.

Какой-то внутренний тормоз вдруг резко остановил ход его мышления, и он вспомнил, как однажды, все так же философствуя-размышляя, чуть не попал под самосвал. Водитель,

потрясая булыжниковым кулаком, кричал: «Кусок долбошлепа – жизнь надоела?!» Пешеходы, увидев бледно-испуганного мальчика почти у самых фар машины, вспомнив своих детей и внуков, громко, волнуясь, заговорили, словно заочно воспитывая своих чад, а он подумал о матери: она бы не вынесла эту трагедию. Самосвал с бульдогообразной мордой мог навсегда перечеркнуть его жизнь. И он подумал о поэтах, художниках, композиторах, о всей ученой братии, которые, не взирая ни на что, мыслят везде и всюду.

Дверь открыла Аделаида Кировна. На ней был халат – яркий, живописный, с какими-то диковинно-сказочными цветами. Она, вероятно, ждала кого-то другого – хотела произвести эффект своим фешенебельным одеянием.

– Наконец-то, Сереженька, здравствуй и заходи! – постно улыбнулась.

Отрок подсознательно уловил: талант перевоплощения генетически заложен в этой притворщице.

Здесь, в просторной прихожей, были одни зеркала. Глаза хозяйки красноречиво говорили: это ультрамодно!

«Как в павильоне смеха», – констатировал Сергей.

– Мама, ты у меня сегодня светофор! – провизжал откуда-то голос Светы. – Сережа, мы чичас!

Мелодично зазвонил входной звонок.

– Начинается! – раздраженно произнесла Аделаида Кировна и приоткрыла дверь. Лицо такое, словно влепит пощечину. – Ну что тебе?!

– Тетечка Аделаидочка, вы... вы... не могли бы, пожалуйста большое, дать почитать «Три мушкетера» Александра Дюма? – звенел в приоткрытую щель детский робкий голосок, боясь отказа.

– Три мушкетера ускакали галопом, а дядюшка Дюма пусть отдохнет! – и хлопнула дверь, отчего Сергей и та девочка вздрогнули одновременно, ощутив холодную изморозь на теле.

Сергею стало стыдно, неприятно, до боли нехорошо – ведь просительница могла подумать, что и он такой же меркантильный. Ему хотелось догнать заплаканную девочку, успокоить, сказать, что он ей принесет свою книгу.

Аделаида Кировна, как тюремщик, щелкнула замком, и мальчик почувствовал себя заточенным в крепость, где лишь бездушие и бессердечие.

«Здесь музыка не будет жить!»

Он пошел вслед за Аделаидой Кировной в гостиную. На доньшке сердца, он знал, навсегда останется маленький, остро колющий камешек, который не смоет никакая вода счастливой и благополучной жизни. Сколько уже их, этих камешков, в его сердце, больно ранящих его?

– Садись-ка в вольтеровское кресло и листай журнальчики заграничные! Можешь транзистор включить. А может, цветной телевизор? Или включить магнит – послушаешь записи?

– Спасибо, – неохотно взял в руки журнал. Он хотел, чтобы она побыстрее ушла. Этот человек, подумал он, живет только вещами.

– Мы, так сказать, ретируемся!

«Слава богу, аукционерка!»

Когда Аделаида Кировна вышла, Сережка облегченно вздохнул, словно выпустил из легких угарный воздух. Слух, зрение, мысли, мышцы словно сбросили с себя нечто мешающее и снова зажили своей привычной, естественной жизнью. Но ненадолго.

«Как они похожи друг на друга – мать и дочь. Во всем у них жеманность. А улыбаются – точно резинку натягивают на рот.»

В просторной комнате стоял сверкающе белый рояль – американский «Стейнвей». Вид у него был надменно-самодовольный, сытый, аристократический; казалось он был обласканный тысячью восхищенных взглядов. Возле него хвастливо вымахала почти до потолка развесистая декоративная пальма, она словно молвила гостю: вот я какая, не то что некоторые кустарнико-

вые! На полках очень много книг, скучно смотревших разноликими корешками, ибо страдают интеллектуальным параличом – никто их не читает. Со стен улыбаются и подмигивают певцы, гитаристы, кинозвезды, прочие-прочие, все они иностранцы, и Сережка чувствует себя в их окружении чужим.

Когда Сережка взглянул на хрустальную люстру, ему показалось, что он находится в иностранном консульстве. Мальчик сидел, напрягаясь всем телом, боясь шевельнуться или скрипнуть креслом, даже дышал тихонько-тихонько. Нигде не чувствовал он себя так скованно. Все время чудилось, что кто-то, спрятавшись за портьерой, наблюдает за каждым его взглядом и движением, стоит не так или не туда посмотреть, или просто повернуться, как тот невидимка подумает, что он вор. Поэтому Сережка делал вид, что читает сосредоточенно, хотя ничего не воспринимал, просто блуждал глазами по строчкам абзацев. И он понял, что стеснение породило невидимку, и это бывает не только с ним, а и со всеми застенчивыми людьми.

«Что со мной? Боюсь взглянуть даже на книги – точно одну из них уже украл».. – И он кашлянул, как бы давая знать, что он все так же недвижно сидит на кресле и прилежно просматривает журналы.

Кто-то царапается в дверь – она скрипуче приоткрылась, и виноватой походкой, словно извиняясь перед гостем, вошла Рута. Чувствовалось, что собаку обидели и она не в настроении. Рута лизнула руку приятеля, выказывая этим свое уважение, потом легла, положив узкомордую, с печально-умными глазами голову на лапы.

– Что скажешь, Руточка? Как поживаешь? – обрадовался он приходу овчарки – ведь она как бы сбросила с него эту чертову смирительную рубашку.

Глаза у собаки были говорящие.

«Живу хорошо, Сережа, – отвечали агатовые глаза, – Гурманкой стала: курицу жру, ветчину, колбасы копченые. – Но скушно мне, нет той вольготности, что у дворняжек. Пусть их обзывают шавками, ублюдками, а я, чистопородная, голубокровная, с богатой родословной, завидую им. Мы, собаки, свободолюбивые! Вот хозяйка моя, Адель, думает, что она выводит меня на улицу, а ведь все наоборот...»

Рута мгновенно подняла голову, испуганно взглянула на вошедшую в ярко-попугаистом костюме Свету. Собака встала, ожидая команду.

– Место! Место, Рута! Кому сказано?! Брысь!.. – топала ногой Света, показывая свой характер гостю.

Овчарка, повинувшись властности хозяйки, исчезла, затаив в груди очередную обиду.

Сергей видел, как Рута, опустив хвост, сверкнула глазами, показывая белки, – она, вероятно, хотела «надерзить», огрызнуться за то, что Света так непочтительно отнеслась к ней в присутствии гостя, которого она обожает. Сергей почувствовал себя виноватым – будто из-за него прогнали собаку.

– Тебе нравится мой домашний костюмчик? – Стала перед ним как манекенщица. Проглянула к окну и, крутнувшись на месте, вернулась. – Часики гонконгские! – Показывает. – Прическа моя – последний балдеж моды. Ласточкино гнездо – сама придумала. Завтра придешь – увидишь прическу а-ля мыльная, пшеничного цвета пена на голове.

«Не жди – никогда к тебе не приду!»

–Ах, как я люблю, когда мне звонят по телефону!.. Я непременно сниму трубку и мелодичным голосом проинесу: «Алло, я вас слушаю!» Ну почему ты мне не звонишь?

«С жиру бесится!»

– Молчание – сестра благородства, но не всегда эта сестрица прекрасна, сказала Света чью-то мысль. – Молчание – золото, но не всегда это золото высокой пробы!

– Аделаида Кировна сказала, что ты сочинила вальс-скерцо, серьезно напомнил Сергей о цели своего прихода.

– Только это не скерцо, а попури! Да-да, попури! – произнесла так, словно это слово знакомо только ей.

«И это нужно уметь сочинять», – положил журнал на красный круглый столик, давая понять, что готов слушать.

– Я слушала в Большом зале консерватории Святослава Рихтера! – Она стояла, облокотившись на рояль, словно позировала фотографу. – Ты был в Большом зале консерватории?

– Не был.

– У-у, ты можешь только пожалеть!.. Белые – точно из мрамора – двери, изумительная лепка, а на стенах портреты выдающихся композиторов – кстати, моих кумиров. Мы с мамочкой сидели в самом лучшем ложе и в поле нашего зрения был весь партер.

«Можно сидеть в самом лучшем ложе и ничего не понимать. Хотя по лицу это не просто определить, ибо у псевдолюбителей искусства богатая палитра мимики. Они так страдают, слушая Бетховена или Баха, что им нельзя не поверить.»

– О, когда играет Святослав Теофилович, я слышу журчание весеннего ручейка, веселые песни жаворонков в поднебесье, я вижу лазурь неба необыкновеннейшую, широкие поля, мудрые леса и луга тучные. – Руки ее словно витали, она, как волшебница, пыталась ими колдовать, и ей казалось, что над кончиками ее пальцев порхает жаворонок. Голубые глаза распахнуто смотрели на потолок и стены, и ей чудилось, что они оживают, раздвигаются, показывая, как на киноэкране, небо, ручьи, поле, луг, леса.

Сергей с трудом сдерживал смех, и, чтобы не выдать выползшую легкую усмешку, он прикрыл губы ладонью.

– А ты знаешь, что Гете читал Гебеля без словаря?

Сергей вдруг не выдержал, стал заметно нервничать, бледнея:

– А кто это сказал, что Гебель... то есть Гете, не зная швабского наречия, понимал Гебеля?!

– Не знаю... В сущности, это не столь важно!

– Нет, важно, коль ты устроила этот диспут! Это сказал Сергей Александрович Есенин в своей литературно-критической статье «Отчее слово»!

– Не хочешь ли ты сказать, что я вообще инфантильна?!

«Я не врач-дефектолог!»

Визави была обескуражена точным ответом, но несмотря на это, задрала кверху подбородок, генералом посмотрела на Сережку.

Она осанисто села за белый рояль и плавно опустила длинные пальцы на клавиатуру – точно не играть села, а вот сейчас подойдет к ней маникюрша и, ловко орудуя пилочками и другим инструментом, станет чистить и полировать ее нежнейшие пальчики и ногти.

Первые аккорды были такие, словно по клавишам пробежал испуганный заяц. В эти минуты пианистка думала о грациозном своем туше и впечатлении, какое производит на гостя, и ей все время казалось, что она играет в Большом переполненном зале консерватории. Брови подпрыгивали, туло-вище покачивалось из стороны в сторону, руки, казалось Сережке, не то дирижировали, не то старались кого-то загипнотизировать.

«Мимики и движений столько, словно исполняются тяжелейшие пассажи. А где музыка? Она убежала от тебя, Света, боясь стать уродливой и рахитичной. Все темпы смешались – и получился бедло-диссонанс!»

От какофонической галиматии болела голова – Сергей заткнул уши пальцами, зажмурил глаза, но мерещившийся рой шмелей все еще жужжал в его ушах. Мучительная пытка продолжалась. Еще мгновение – и мальчик, тонко понимающий музыку, с болью реагирующий на всякую фальш, мог бы упасть в обморок. Он дрожал всем телом, стеснялся, то и дело прикрывая глаза ладонью, краснел перед неодушевленными, окружающими его предметами, будто это не Света, а он играл на рояле.

Когда Сергей увидел на Светыном лбу капли пота, он чуть было не расхохотался. Чтобы отвлечься, прийти в себя, он стал смотреть на люстру, где каждая висюлька-хрусталинка светила и сверкала, будто внутри ее горела электрическая лампочка.

– Коктейль на трех сиропах!..Вкусно и освежающе!..– услышал Сергей, не понимая, к кому обращаются, еще не выйдя из полушока.

На столе появились два золотистых стакана с пластмассовыми соломинками.

– У тебя, Сережа, большой коэффициент благородства и культуры. Я рада, что вы с Ланочкой дружите. – Сергею казалось, что ему приснился страшный сон, в котором Светына какофония разрывала барабанные его перепонки, и он, увидев возле себя два странно улыбающихся лица, ощутил

озноб. – У меня сенсационная новость, – пропетушила Аделаида Кировна, твоя тетя, Лануся, назвала щенка, которого мы ей подарили, Аллегро! – и засмеялась, словно увидела Чарли Чаплина.

Сергей хотел встать, уйти, но что-то держало его. Вначале ему казалось, что эти взгляды точно привязали его к креслу, но потом он понял, зачем так терпеливо ждал конца – он хотел изучить, узнать этих людей, чтобы потом сочинить музыкальный памфлет.

– Сережа, не правда ли, оригинально придумано? – вопрошала Аделаида Кировна, сев в кресло, – А каково композиционное решение?

Сергей, мотнув головой, испуганными глазами посмотрел на Аделаиду Кировну и Свету, и ему показалось, что он, сидя в этой холодной крепости, стал бездарным, похожим на этих ходячих роботов, и страшная мысль молнией пронизала его насквозь, и он, больно сдавив виски, дико закричал:

– Откройте!.. Отпустите меня на волю!.. Я хочу уйти отсюда!..

На улице было по-летнему хорошо.

Солнечные лучи – теплые, нежные, как материнские руки.

Воздух показался Сережке свежим, целебным, и он чувствовал то, что чувствует спелеолог, вышедший из глубокой темной пещеры на свет божий.

«Музыка отвернулась от тебя, Света, – думал отрок, радостно шагая по тротуару, улыбаясь домам и деревьям. – Она не каждому открывает свои волшебные кладези звуков. Каждый музыкант несет в сердце свою мелодию, которая звучит в нем с первого дня рождения; и когда он умирает, душа его живет в бессмертных его творениях. Тебе, Света, никогда не быть в стране, называемой музыкой. Тебе купили дорогой американский «Стейнвей», но знай: талант не покупается и не продается!»

И он с улыбкой вспомнил слова отца: «Талант, сын, – это как бы конь, которого нужно каждый день питать овсом знаний, иначе он, исключившись, погибнет!»

4.

Раньше Павел с Сережкой часто ходили в театр, на концерты. Анне тоже хотелось с ними пойти, но она почему-то стеснялась и даже краснела, когда Павел говорил о театре, оперетте, камерной музыке. И, быстро отвернувшись, чтобы не заметили ее стыдливый румянец, уходила на кухню, на ходу говоря: «Ты, Павлуша, иди с Сереженькой, а я по хозяйству.» «Что за ангельский человек! – думал Павел. – Верная своему очагу весталка... Не знаю, люблю ли ее, жалею, черт меня поймет?!»

В театр ходят, думала Аннушка, особенные люди, знающие толк в этом деле, а кто она: санитарка, уборщица. Она и бинокль, если б пришлось, положим, сидеть на «камчатке», не умеет правильно, по-интеллигентному держать, сразу поймут: кто она и откуда. Зачем же портить людям празднично-веселое настроение? Да и кроме того, вещи у нее простенькие, ношеные, не из шикарных.

В парке на скамейке она тогда сидела, угощала конфетами детвору. Иные смело запускали руку в большой кулек, вытаскивали полную пригоршню «Мишки» и убегали.

Павел в тот день был пьян. Никогда не пил, а тут вдрызг напился. Сонату, которую он писал целый год, не поняли, а те, кто старается получше высказаться, говорили, что в ней очень много «моцартизма» и «бетховенизма». И даже студенты, его товарищи-однокашники, после прослушивания утверждали, что это талантливо написанный новый вариант «Лунной» сонаты. Выходит, он – плагиатор, умеющий искусно переделывать чужие шедевры. Хоть в петлю лезь, но и смертью своей не вызовешь в них понимания. «Не верю, – говорил себе Павел, не верю: неужели в каждом из них вирус зависти?! Они игнорируют новаторство, не желают замечать идею...» В тот день ему казалось, что никто в этом мире не поймет его. А когда он узнал, что Жанна уехала на «Жигулях» с директором ресторана, он упал на асфальт, искровенив себе лицо. Боли и тоски было так много и они были так тяжелы, что не хватило бы всех железнодорожных составов, чтобы погрузить их в вагоны. И он понял, что не только на войне умирали люди – осколок измены смертельно ранить может любого в мирное время. А ведь таких раненых немало – и женщин, и мужчин. Найдется ли в этой жизни сестра милосердия, думал тогда он, которая перебинтует его раны?

Павел пьяно плюхнулся на всхлипнувшую скамью. Дети, подгоняемые окриками матерей и бабушек, быстро разбежались.

Сердце у Анны испуганно дрогнуло, бросив холодок к горлу, но она ласково, словно успокаивая, посмотрела на незнакомца.

– Да, выпивоха, алкаш, протрынькал червонец сегодня! Да, выпил лишку! – куражился Павел, но ласковые, успокаивающие глаза девушки не только отрезвили его, но и в паузе молчания дали возможность вспомнить что-то свое. Они как бы вернули его в босопятое детство, и он вспомнил мать: у нее были такие же добрые, родниково непогрешимые глаза.

Павел сглотнул комок горечи – слезы рвались наружу. Эта хрупкая, голубоглазая девушка, которую он вдруг захотел на руках понести к счастью, показалась ему такой беззащитной, святой, непохожей на всех других.

– Простите!.. Простите меня, родная!.. – прикрыл глаза ладонями, дрожа всем телом.

Анна полюбила Павла. Знала ли она, что такое любовь, думала ли, что существует такое понятие? Она, простая девушка, не задумывалась над этими вопросами, но тем не менее умела любить. Она любила сердцем и душой, как любят прозрачный полдень с усмевающимся солнышком, свирель утренней пичуги, лопотание торопливой речушки, целомудренную зорьку вечера и утра. А разве любовь может быть «ученой, всезнающей»? Может, давние-давние наши предки – пещерные, первобытные – любили по-настоящему, лучше нас? Была б такая волшебная подзорная труба, позволившая бы нам взглянуть в глубину древних веков, мы бы убедились, что это именно так. Настоящая любовь презирает прагматизм и рационализм. И трагична судьба так называемых «бухгалтеров», подсчитывающих все «за и против». К сожалению, штат их все более увеличивается, и правит там – их ничтожество мещанство и вещизм.

Любовь, вероятно, имеет два заряда: один – положительный, энергетически питающий саму любовь, другой – отрицательный, уккумулирующий в человеке ненависть к «тому» или к «той». Чем сильнее, беззаветнее Анна любила Павла, тем больше, злее он ненавидел Жанну Тихомирову. И один кошунственно гадкий ворос мучил его, преследовал, он даже боялся его: что будет, если Жанна вернется? И, несмотря на это, он знал, что так, как Анна, никто и никогда не полюбит его. Порой ему казалось, что эта простая, воспитанная в детском доме девушка нравственно выше, чище его, и он не достоин ее любви.

Анна родила сына, Сережку, и была счастлива этим. Ей, худенькой, хрупкой, не верилось, что она смогла родить ребенка. Бледная, сильно похудевшая, она улыбалась всем в палате, не хотела думать, что могла умереть при родах – ведь ей сделали кесарево сечение.

Павел так же учился в консерватории на композиторском факультете, и редко приходил к Анне. Она очень стеснялась его, как и в первый раз, думая, что ее бледность, старенький халат, сквозящая в глазах усталость неприятны, даже противны ему. И когда он уходил, она с волнением думала, что он больше никогда не придет. И тихонько, стесняясь саму себя, плакала... подходила к кровати и смотрела на сладко улыбающегося во сне малыша. И ей казалось, что сынок, не открывая глаз, этой счастливой улыбкой успокаивает ее; и когда, улыбаясь, снова шила махонькие рубашечки, штанишки, чепчики, все казалось, что он исподтишка посматривает на нее жалея. И думалось ей, что он будет хорошим, ласковым сыном.

5

Сережка вышел из метро и торопливо направился к мастерской. Хоть сегодня и суббота, выходной день, но отец все же пошел на работу. «Конец месяца, аврал, штурмовщина, – чуть раздраженно сказал он. – Приходить не надо!» Сережке так хотелось сегодня пойти в филармонию или Дом органной и камерной музыки! Давно они с отцом там не были. Нет, он не будет уговаривать отца отправиться туда, он просто хочет провести его с работы домой...

Григорий Васильевич стоял на крылечке под навесом, неторопливо, задумчиво покуривал. Увидев Сережку, улыбнулся, помахал рукой.

Когда мальчик подошел, вахтер положил ему на плечо чуть дрожащую руку.

– На свадьбе вчера был! – торжественно сообщил, радуясь чему-то. – Хорошая свадьба! Пел там один – видать, из артистов оперных. Поет – сердце из груди вынимает. Я и слова запомнил: «Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей.» Это, стало быть, лебедь своей подруге погибшей кричит. А потом и сам кончает жизнь самоубийством, бросается с неба на землю грешную. Вот как любили друг дружку! Так и надобно любить и жить, чтоб друг без дружки не обойтись.. Я вот не поэт, а мысль ко мне пришла: ведь в тот, пожалуй, день много свадеб с разными обычаями было справлено по всей Земле. Некоторые страны, конечно, еще спали, солнышко еще не подарило им день Это ж сколько, если сосчитать, национальностей!

Григорий Васильевич говорил волнуясь, и Сергей понял, что все это он говорит для него, желая, чтобы и он любил как лебеди.

«Добрые люди, – думал отрок, – как целебные колодцы, к каждому из которых хочется подойти, благоговейно поклониться и испить живительной водицы.»

– Вот придет такое время, когда не будет ни вахтеров, ни охранников, ни милиции. Это и есть, Сережка, коммунизм чистой воды.– Глубоко затянулся, пустил сизоватый дымок, задумался, поглаживая подбородок. – Я вот читал в одном научном талмуде, что были раньше кайно...кайнозойская, мезо...мезо... Ну, черт, и названия же, шибче на гору взберешься, нежели их выговоришь! Мезо, стало быть, зойская, протеро... и тоже зойская эры. И вот в те-то времена жвали разные там дриопитики, парантропы, ремапитики, прочие питики и эти неа... нео... ниандртальцы. Тяжело, скажу тебе, влазят в башку эти словеса. Как их ученая братия запоминает – не знаю?! – Пожал плечами. – По мне лучше выкосить луг, чем их заучивать. Ну так вот, те питики были, так выражаясь, наши сородичи, собратья-предки наши... чело-векопохожие то есть. Хвосты у них, стало быть, поотрастали. Не так чтобы они, эти хвосты, им мешали, но все же эти хвосты у них имелись. По-ученому – атрибут необходимый. Потом эволюция такая, стало быть, пошла-развернулась, хвосты эти атрофировались и поотпадали, ну как соульки с крыш. Вот. Люди по этой причине стали бесхвостые. Какая в них нужда, в хвостах этих? Ты попробуй найди-ка сейчас хоть одного профессора или академика с хвостом! Не найдешь – дудки!

Дядя Гриша последний раз затянулся, медленно загасил сигарету о спичечный коробок и, открыв его, спрятал туда окурочек.

– Теперь смекаешь к чему это я клоню? Неспроста ведь о хвостах стал философствовать. Сережка пожал плечами, жалея, что не может ответить.

– Ну так слухай, мил человек. Ведь зло, зависть, жадность, хапужничество, нечестность и все подобное нехорошее и есть длинющий хвост у всего человечества, который ему очень мешает и делает его больно некрасивым. Аж стыдоба берет меня за всех за людей! Природа, конечно, – говорю научным языком, – хороший селекционер, но ассистировать нам при ампутации этого подлого червеобразного хвоста она не будет. Мы, люди, должны его отсечь бесприменно сами – раз и навсегда!..

Когда Сергей пошел, Григорий Васильевич, войдя в вахтерку, сказал вслух:

– Вот они, хирурги будущего! Они-то навовсе отрубят у человечества этот – ядрена его мать! – хвостище!

В цеху тихо, никого нет, словно все ушли на митинг. Под ногами поскрипывает песок. На верстаке Александра Михайловича – гайки, шайбы, винты, почему-то хаотично валяются сверла, напильники, масленка, штангенциркули. На полу – тоже гайки и винты, опрокинутый круглый стул, – кто-то, вероятно, спешил, споткнулся и, озлясь, не соизволил поднять его. Дверки установки настезь открыты, сверкают хромированные ручки. Пахнет керосином.

Сергей боязливо, точно его ударят, подходит к обшарпанной коричне-вой двери бытовки, сквозь приоткрытую дверь которой сочится разговор. Сердце сильно «галопировало», и мальчику казалось, что разговаривающие за дверью слышат его стук.

– Закусончик у нас, братва, бог позавидует!

– Это первач или последыш?

– Последыши бывают в акушерстве...Первач – понял?! У меня самогон-ный аппарат из нержавейки, последней модификации – хоть на ВДНХ де-монстрируй!

– Не боишься, что конфискуют?

– Он у меня в такой схованке, что ни один миноискатель не обнаружит...

Все вдруг засмеялись, узнав, где прячет свое «изобретение» собутыль-ник.

– Дрессированный спаниэль в момент и там снайдеть!

– Дерг твою ядрена мать! У меня присыпано спецзловониями – без рес-пиратора не под-  
ходи!

– Ты, Фоша, получается, по самогоноварению защитил уже докторскую диссертацию.

– Определенно! Вот, скажем, вручали бы лучшим самогонщикам «Оскары», так у меня их самых было бы больше, чем у Карпова и Элизабет Тейлор. Да-а! И в книгу рекордов Гиннеса попал бы. Я на спор запросто выпью бадью сивухи или бормотухи! Хи-ха-ха-ха!..

– Стол у нас, кореша, скажу я вам, лучше ресторанского! Пора и бемцнуть по двести!

– Слушай – а как же ты пронес эликсир настроения и бодрости?

– А в термосе китайском – Васильич же у нас на контрольке ржавый утюг!.. – и опять вслед за этим неестественно scomороший смех. – Да его, старикана, можно по-разному лохонуть

– Главное, зубров нету – начальства нашего. А то давишься, гляделками по сторонам кидаешь как ворюга.

– Павел, ты ее, подруженьку, в банку перелей, чтобы она на нас, мы на нее с почтеньицем взирали!

Сердце Сережки испуганно вздрогнуло, услышав имя отца. Он стал бледнеть, словно ощущая иней на спине, на лбу у него появились капельки пота. Он дрожащей рукой открыл дверь, вошел в небольшую комнату с темными от частого курения стенами, вдоль которых стояли металлические шкафы. Окна гостеприимно распахнуты для ветра, и летняя прохлада время от времени навещала собравшихся, вызывая ощущение приятной истомы.

На самодельном столе, на котором в обеденный перерыв забивали «козла», среди закусок господствовала двухлитровая банка с мутноватой жидкостью. Пустые ротастые стаканы нетерпеливо ждали дурманного зелья.

Вначале все ошеломленно смотрели на вошедшего – это была немая мизансцена из новой еще не написанной комедии. Потом взгляды стали осуждающе строгими – так обычно судьи смотрят на обвиняемых.

– Явился не запылится! Твое чадо, Павел!

Валунов подумал: если б совесть превратилась в человека, она бы его сейчас подмяла под себя и задушила. Он не выдержал на себе рентгеновский, прожигающий насквозь взгляд сына, опустил глаза, сжимая кулаки и сцепив зубы.

– Это ты, Михалыч, виноват – забыл дверь закрыть! Конспирация на тебе лежит!

– Как он, малявка, спичка, эта оказался в эпицентре нашего пиршества?!

– Ты-ы, замолчи-и!! – Павел скалой поднялся над всеми, схватил банку – и об пол вдребзги!

Собутыльники, открыв рты, тараша глаза, смотрели на него так, будто он разбил их счастье.

Глаза Сережки, показалось Павлу, были как кратеры, через которые лилась огненно-горячая лава, затопляющая всех в бытовке.

Глава третья.

1

Радостное – то здесь, то там – покашливание, будто сидящие рады сообщить друг другу, что они здесь, в зале филармонии, и скоро здесь зазвучит прекрасная музыка. И те, кто шепотом говорит сейчас, естественно, думает Сережка, понимают и ценят музыку. Они словно беседуют не друг с другом, а с великим композитором, произведение которого вот-вот оживет, рассказывая о самом главном и важном – о жизни, о любви, о доброте. Отроку казалось, что сердца всех собравшихся звенели, как колокольчики, одной нотой радости.

Павел сидел прямо и поверх голов смотрел на оркестр, словно выискивая среди музыкантов какого-то своего знакомого. Сергею не верилось, что отец рядом – вот он, все как сновидение, ведь так давно они здесь были. Он чувствует, что внутри у отца происходит какая-то работа – там настраивается главная струна восприятия. Мальчику хочется прижаться к этому серьезному сейчас великану с мраморным, как у статуи, лицом, как бы растворится в нем, чтобы услышать и постичь мелодию его грустного сердца, переполненного тяжелыми думами.

Рядом с Сережкой сидит курчаво-красивая девушка, смотрит в бинокль: как кто одет, не лучше ли ее?

– Будет та же конференсье, что и в прошлый раз, – шепнула ей на ухо мать, сверкнув рубинами сережек.

– Конференсье на эстраде – здесь ведущая.

– Хорошо – хорошо. Так вот: у этой конференсье муж танцует в ансам-бле Вирского. Есть у них в репертуаре гвоздь программы – танец «Повзу-нец», так он солирует в нем с такими казацкими усищами.

– У них все усатые.

– Seriously?

– Вполне.

– А дирижер – смотри! – вылитый Марчелло Мастраянни, – хвастнула знаниями в кинематографе мать.

«Зачем вы сюда пришли?!» – нахмуренно глянул на них Сережка.

Каждый настраиваемый оркестрантами инструмент хотел звучать по-своему, отличаясь «голосом» от своих собратьев. Но среди всех плаксиво звучала скрипка, вспоминая Паганини. Она канючила, просила о чем-то, а смычок – ее верный друг, который неразлучно спит с ней в одном футляре, помнящий штрихи деташе, легато, стаккатто, – успокаивал ее.

Стуча каблуками белых туфель, на сцену вышла ведущая в платье, на котором звездочками посверкивали блески-вспышки.

– Чайковский! ..Пятая симфония!.. Ми минор!.. – громко и радостно – как новость – объявила она, и после этого Сергей слышит тихое «колоратурное сопрано» девушки, сидящей рядом:

– У нее хриплый голос, как у выпившего прораба на стройке.

«А ви такие вумные...как клоун на манеже», – съязвил про себя Сережка.

Девушка наконец мгновенно взглянула на Сережку – словно толкнула его, отроку даже показалось, что он ощутил удар в плечо, потом в лицо. Скупые глаза девушки поползли по вещам мальчика – словно по Сережкиному телу поползли тарантулы и москиты.

«Взгляд у этой девушки нехороший, жадный, завистливый, – решил Сергей. – Прищурившись смотрит на меня. Ей бы в ломбарде работать...Неужели они с матерью любят и понимают музыку?»

Зал приумолк, затих и дышал тихо, как дышат в музеях.

Дирижер стоял уже у пульта и, восклицательно подняв палочку и не глядя в сифоническую партитуру, словно говорил глазами: «Ну, друзья-коллеги, не ударим лицом в грязь перед памятью Петра Ильича!»

Сергей закрыл глаза. Медленно вливается в него живительное благозвучие, и ему кажется, что симфония вливается в его вены и, проходя через сердце, становится его кровью.

Вспотел огромный лоб дирижера, и по глазам, по движениям, даже по дыханию чувствуется, как он любит, обожает музыку и готов за нее умереть.

«Сквозь наши сердца, -думает Сергей, проходит волшебная струна, соединяющая нас с симфонией!»

Шуршащий рядом звук – как бритвочкой по сердцу – портит всю картину восприятия, – это красивая девушка тихонько лопает шоколадные конфеты, жадно доставая их из вышитой бисером сумочки. Сергею хочется схватить аккуратно лежащие на коленях обертки, швырнуть на пол, но этикет сдерживает его.

Он опять вспомнил Свету:

«Не старайтесь привить сорняки вечному древу музыки – не получится!»

Музыка обходила Павла. Опустив голову, думал о чем-то своем, желваки нервически прыгали. Какие-то катаклизмы происходили у него в душе – двенадцатибальной силы.

Когда они вышли из филармонии, Павел сказал:

– Ты иди, мне надо по делам...

«Он хочет остаться один.» – Сын, не моргая, смотрел вслед отцу и ему казалось, что тот уходит к своим воспоминаниям.

## 2

Анна не знала, какое ей одеть платье, да и немного у нее их было. Собиралась – как девушка на первое в своей жизни свидание. Волновалась, ощущая в груди сердцебиение, отдававшееся в гортани и висках. Боялась опоздать – вдруг не застанет или, не дай бог (вот суеверная!), что-нибудь случится. Вероятно, думала она улыбаясь, так бывает с каждой женщиной, которая очень любит. Настроение было весенне-девичье, петь хотелось, а в душе веселилась щекотливая радость.

Одела она неяркое ситцевое, с какими-то крохотными цветками платье. В зеркало не смотрелась, чтобы не увидеть болезненную бледность... (Даже в мыслях она боялась показаться самой себе очень счастливой.)

– Сынок!.. – робко позвала она, как бы не желая оторвать сына от дел.

– Сейчас, мамочка! – радостно крикнул из кухни – точно ждал этого.

Сережка остановился в дверях – на нем фартук, в руке ложка.

– Тебе ... нравится платье?..

– Очень!

– Тогда... я пойду.– Тихо сказала, будто спрашивала разрешения у сына.

Он был счастлив, что мать идет к отцу. Пытался найти хоть одно слово в сердце, которое бы приободрило, обрадовало ее, и не нашел. А комплименты он не любил, считая их фальшивыми нотами.

– А борщ готов... и котлеты, – стеснительно улыбнулся, напоминая матери о том, что ей пора обедать.

– Надо ловить текущий день – так сказал Квинт Гораций Флакк.

– Прежде чем писать свои «Оды», он обязательно сытно ел! – урезонил Сережка.

...Павел не закрыл дверь, и это не удивило Анну, не показалось ей странным. «Соседи у меня – старики и бабушечки, – говорил он. – Вор чует, где можно пожить. А у меня всего-то: пианино да прочая ненужная рухлядь. Вот стагу богаче – сигнализацию проведу. Не от кражников. Придет кто, позвонит, а меня нет – ну и ответит бас робота: «Павел, дескать, жив-здоров, того же и вам желает!»

Тюлевая занавеска вальсирует с проникающим в открытое окно летним ветерком. Окно напротив тоже распахнуто. Солнцезолосая девочка, подперев голову кулачками, мечтательно глядела в небесную глубочину и думала о том, что голубое небо и все вокруг – продолжение сказки, которую рассказывала ей мать. Где-то громко гудел голубь, вероятно предупреждая своих соперников, что карниз и гнездо, на котором почивает его подруга, принадлежат только им. Воробьи, не обращая внимания на воркования и ухаживанье голубей, были по-птичьи уверены в том, что их перечекивание самое орфейное.

Оса, сердито-инквизиторски бубоча и то и дело ударяясь в стекло форточки, возмущенная секретом прозрачного предмета, никак не могла вылететь на волю.

– Сейчас, миленькая!.. – словно извиняясь за свою нерасторопность, сказала Анна и выпустила гостью. – Вот так бьется о стенки грудной клетки радость, которую мы выпускаем очень редко. Выпускаем только к счастью.

Портреты композиторов смотрели на нее серьезно, осуждающе: мол, чего пришла? Аннушка, стесняясь их любопытных, очень строгих, следящих за ней взглядов, подошла к пианино и, поглаживая бронзовый бюстик Моцарта, стала рассматривать вывязанную ее руками декоративную салфетку. И сразу почувствовала сердцем, что взгляды музыкантов потеплели, стали добрыми, ласковыми, уже не осуждающими. И вдруг покраснела, вспомнив немодное свое платье.

Аннушка не умела играть и думала, что композиторы, сочиняющие музыку, очень умные, талантливые и добрые люди. Откуда они, спрашивала себя, берут звуки, так похожие на чувства человеческие? Они собирают их в золотое лукошко души. Им так же порой бывает нелегко, как ловцам, поднимающим со дна моря жемчуг. Эти звуки волнуют сердца, баюкают дитя, вызывают воспоминания о матери, детстве, первой любви. Вероятно, трудно это, думала она, среди тысячи звуков найти свой, единственный, самый-самый, ни на чей не похожий. И когда слышала хорошую музыку, понимала: живет правильно, честно, по-человечески; и хотелось лишь одного: чтобы все были добрыми и счастливыми.

Она опять стала волноваться, думая, что Павел будет не доволен, застав ее у себя. Все казалось, что в комнате запах знакомого мужского тела.

«Он придет, он обязательно придет... – стеснительно улыбалась воображаемому Павлу. – Я волнуюсь... волнуюсь оттого, что наши сердца говорят друг с другом.»

Увидела на столе листок из тетрадки – мелькнуло: может, Павел написал ей? Стесняясь знакомого почерка, в волнении дыша, стала тихо читать:

У грустных – печаль за печалью,

У нежных – как солнце глаза.

Я к острову добрых причаляю,  
Чтоб им о тебе рассказать...

Почему-то заплакала, быстро утерла слезы. Ей так хотелось по-матерински его приласкать, пожалеть, но она всегда стеснялась это сделать. Может, потому, что он был слишком серьезен, угрюм и даже порой холоден к ней.

Анна прижала к губам четверостишие, будто тихонько поцеловала Павла.

Открывается дверь. Павел. Белая рубашка и брюки – грязные, измятые; упал, что ли? Потертый черный чемоданчик с инструментом падает из его рук на пол, издавая обиженный звук на своего обладателя.

– Анна... Аннушка...

Павел целует бледное лицо Анны, целует ее руки и, опускаясь на колени, крепко обнимает ее худенькие ноги. Анне кажется, что он плачет.

3

Сергей стоит перед обитой дерматином дверью и не решается нажать на кнопку, под которой написано: «Силушкины.»

Фальцетный звонок молнией пронизал Сережку и ушел в бетонный пол. Хоть он слегка прикоснулся к звонку – звук, показалось ему, был настолько настырно-требовательный, что мог всполошить всех соседей.

Дверь отворилась и, держась за косяк, как за телеграфный столб, ша-таясь и моргая запухшими глазами, выполз, как из берлоги, Денис Артемович, – отец Володи Силушкина. Прическа у него была такая и сам он был та-кой, словно вначале лежал в хлеву на сене, потом – в курятнике на помете, а напоследок бухнулся в яму с помоями. Он смотрел вкруговую, страшно вращая белками и не понимая, где он и кто его потревожил.

– Ка...как на центрифуге... – заикающе прогузынил он. – Голова есть...головы нет. Ва... вакуум в башке. Пе.. перегрузился я сегодня градусами... Ты кто?... Ты какая здесь, а?... Кто ты, из каких?... Наш или чужая?... Отвечай – тебе сказано!..

– Здравствуйте, Денис Артемович! Это я – Сергей...

– Ты ...ты францу...цузский шпиен... – проговорил с закрытыми глазами.

Денис Артемович, конечно, услышал «здравствуйте», но как что-то далекое-далекое, напоминающее эхо, поэтому он вибрирующими движениями пальцев стал немедленно прочищать слух.

– Хе, Сережка!.. Здоров!.. Сразу тебя узнал. Извини: облапить и поцеловать не могу – сила моя в бутылке осталась. Ик!..Ик!..Икаю, как видишь. Нас было, Сережка, трое: я, стол и стаканище. Захмелел я в пенек... Хочешь – заходи, но моего вундеркинда нету. Гениальный же он, стервец, – ну, этот... новый Ван Дог... Тьфу ты!..Ван Гог или Ренуар... Думаю, гоноре... гонорары у него в будущем будут такие – мне непременно на коньячок перепадет.

«Тонет человек, люди! Бросьте ему спасательный круг!» – подумал Сережка, потом сказал:

– Зачем...зачем вы, Денис Артемович, пьете?

– А вот ты с трибуны задай такой вопрос всем!.. Все будут с мест возмущаться, голосовать против пьянства, а на самом деле... Эх, не понять тебе, малый!.. Ты своим вопросом наполовину отрезвил мое «министерство», – похлопал себя по лбу. – Вот пусть введут четырнадцатую зарплату за трез-вый образ жизни, – тогда и перестану пить. – Скрежетнул зубами. – Не понять тебе, масленок, что в душе у меня только мазут и горечь! Вот и выжи-гаю все это пламенем градусов. Не помогает... Все думаю: к чему, зачем жи-ву? Гляну кругом – и все кажется неинтересным-неинтересно! А неинтересно потому, что горластых у нас валом, а истинных работяг – соли земли – мало-вато!

«Это апатия. Какая причина привела ее к этому человеку?»

– Ласточке, вороне, воробью порой завидую. Не понять тебе этого. Поживешь с мое – вот тогда-то, может, и прозреет твое сердце, глядя верным взглядом на жизнь-матушку... Друг улыбнется, руку пожмет, а вот понять – не каждому это дано. А было б хорошо, ох как хорошо, если б понимали друг друга! По принципу: твое сердце – мое сердце, твоя боль – моя боль... Что-то мешает нам в этой жизни. А что – не знаю, невдомек мне. И этого «что-то» собралось столько, что, вероятно, лет двадцать бульдозерами надо будет вкалывать-ровнять!.. У нас стало модно говорить о проблемах. Говорят о них все: учителя, ученые, работяги, все-все. А кто их, эти проблемы, – хотел бы спросить в «Прожекторе перестройки»! – создает? Кто – спрашиваю?! Да те бюрократы и дермократы, которые ничего не делают... просто сидят и лясы точат в государственных учреждениях, получая за это хорошую государственную зарплату! Было б больше пользы, если б каждый не разговорней красивой занимался – это нынче мы все умеем, – а взялся за черенок заступа!.. Ну, я пошел бай-байкать. Устал. А ты, Сережка, приходи почаще – эти разговоры делают меня полутрезвым.

Старая темная лестница и полутемный подъезд усугубляли тоскливость, и Сережке чудилось, что он наступает не на ступеньки – на огромные клавиши, звучащие Бетховенской великой печалью. В сердце ощущал болезненную тяжесть – на доньшке его свинцом лег недавний разговор. Отрок был навьючен множеством мучающих его вопросов, от которых не мог и не хотел избавиться, и он был сейчас похож на человека, который не знал, что ему делать и куда идти. Он стал массировать взбухшие от напряженной мысли виски, пытаясь найти хоть один ответ на главные вопросы жизни.

Он остановился на лестничной площадке и, как к матери, прижался лбом и щекой к холодной, исписанной мелом и гвоздями стенке.

Шаги. Сережка хотел, чтобы спускавшийся быстро прошел мимо, сделав вид, что не заметил его. Он кожей ощутил чужой взгляд – словно инеем покрылась спина.

«Ну проходите же, быстрее, прошу вас!»..– мысленно торопил он незнакомца, уверенный, что чужая боль ему безразлична – как прошлогодний листопад.

– О, стоит! – мужской веселый голос был уже рядом. – Ты чего, пацан? Тебе плохо? «Скорую» вызвать?

– Спасибо. Ничего мне не надо.

– Ага, понял: ты задумался над проблемами сегодняшнего жития-бытия. А ты не думай – мой тебе совет. – Запах суррогата шибанул мальчику в нос, и он подумал, что весь мир сегодня, вероятно, пьян. – Ты о перестройке думаешь, младен?

Уйти бы, но Сергей боялся услышать вслед страшно-омерзительное оскорбление. Он знал: оскорбления мало-помалу уничтожают в человеке доброе, нежное – и он прячется в коконе замкнутости.

– Зеленый цвет дан – поезд перестройки мчит на всех парах, главный машинист – Горбачев, – продолжал незнакомец. – Под откос поезд, вероятно, не скочурится – не беспокойся. Уж больно много калек будет, если под откос... – Похлопал Сережку по плечу. – А ты, пацан, ни о чем не думай – дольше проживешь, здоровее будешь. Сейчас недумающим сочувствуют, их даже уважают и любят. Совет: будь послушным муравьем; взвалили на тебя бревнышко – тащи не задумываясь по прямой к цели. И баста!

Сережка с облегчением вздохнул, когда «философ» наконец ушел.

«Взрослые читают нам сказки, воспитывают, наставляют, а сами делают такое... – думал Сергей. – Почему отцы уходят к другим женщинам, а матери – к чужим мужчинам? Отцов и матерей лишают родительских прав – и дети плачут в одиночестве, просят родителей вернуться. Неужели вы, родители, не слышите стон и плач своих детей! Ведь это девятый вал детского горя! И когда смотрю на небо, мне кажется, что это не звезды – застывшие слезы осиротелых детей!»

Ему хотелось сейчас забраться на чердак, чтобы никто не помешал его мыслям. На первом этаже было почти темно, и его, севшего на корточки в уголке под лестницей, никто не мог увидеть.

«Почему люди мало живут? Крокодилы и черепахи живут до ста семнадцати лет, щуки – до двухсот шестидесяти, кит – до четырехсот.

Мудрый народ хунза, который живет в гималайской долине, не курит и не пьет. Зубы у них не болят, зрение до старости хорошее; матери пятидесяти лет красивы и грациозны. И живут хунзы до ста двадцати лет... Стрессы – а может, жадность? – пожирают года жизни цивилизованных людей?»

Когда он вышел на улицу, мир показался ему иным, совсем не тем, прекрасным, веселым, счастливым, каким он видел его до встречи с Денисом Артемовичем. Какая-то внутренняя сила гнала его домой, неудержимо рвалась наружу. Он знал: это музыка, вторая его мать, любящая и понимающая его, хотела выслушать его горечь и боль.

Кто-то небольно ударил Сережку по плечу. Но он, опустив голову, торопился к звавшей его музыке.

– Ты куда? Своих не видишь? – догнал его Володя Силушкин. Потертые до белизны боксерские перчатки перекинута через плечо. Ажурная белая тенниска апаш с красным воротничком очень шла ему.

Володя не мог не заметить унылость в карих глазах друга..

– Мне домой!.. Я домой!.. – как чужому, ответил Сережка, страшно глядя на Силушкина. Голубые глаза приятеля, жесткие чернокудрые волосы, по-девичьи тонкие брови – все показалось Сережке слишком красивым, немужским.

У меня был? – досадливо сказал Володя, понимая, что друг видел его отца. – Мой опять нагрузился! – Отвернул голову в сторону.

Силушкин нежно положил руку на плечо товарища, и Сережке захотелось извиниться за свою резкость.

Они стали спускаться по Круглоуниверситетской.

Солнце щедро дарило лучи земле, и та, благодарно принимая их, была радостной, веселой, улыбочивой.

«Солнце, – подумал Сережка, – согревает всех одинаково: добрых и злых, счастливых и неудачников...»

Крещатик всегда прекрасен, и кажется, что это не главная улица, а сцена с постоянной декорацией, по которой талантливо ходят люди.

Володя, обнимая рукой плечо друга, говорил громко, не стесняясь, и Сергей, напрягаясь, чувствуя каждой клеткой тела свое стеснение, хотел одного: чтобы он говорил тихо.

– Вольный бой сегодня был! – сказал Силушкин и самоуверенно посмотрел на высокую светловолосую девушку. Сергей заметил: тембр голоса у Силушкина становился приятно-мелодичным, когда проходили девчонки. – На ринге показывали все, что усвоили на тренировках: боковые, прямые, так называемые апперкоты, хуки, свинги и, конечно же, кроссы. Ванька Глинобитный, конечно же, опять побил меня мастерски – понимаешь, опережал все время в атаке. Но ничего: один в синяках лучше десяти без синяков!

Фонтан, казалось Сережке, страстно хотел коснуться голубизны неба и не мог, завидуя большой серебристой звезде на высоком доме, и он обиженно и стеснительно глядел на пешеходов, которые ничем не могли ему помочь. Сергею хотелось сесть под похожий на соцветие колокольчиков

навес и послушать фонтан, рассказывающий о том, что он когда-то был рекой, впадающей в море.

Вход в подземный переход, казалось Сережке, был словно входом в сказку Андерсена.

Универмаг ненасытно глотал порцию за порцией покупателей и, пропустив их через пищевод всех этажей и отделов, выбрасывал на улицу.

– А ты знаешь, зачем мне эти хуки и кроссы нужны?

Каштаны не шелестели листвой, словно прислушивались.

– Что, вырастешь – будешь перевоспитывать отца?! – остановился Сергей и сбросил руку товарища с плеча.

– Я отца люблю. И не говори так, друг, – снова положил руку на Сережино плечо, показывая этим, что вовсе не обижается, и они опять медленно пошли. – Бокс пригодится мне в армии. Вот, предположим, пришла пора служить мне – так? Направили бы меня, скажем, в Афганистан – да я бы и сам напросился туда, – ведь все мы интернационалисты – верно? Представь, по рации сообщают: « Кишлак Бельведи в опасности! Рота майора Стручкова в ружье!» Быстро садимся в бронемашину и полным ходом к попавшим в беду дехканам. В долине Махрай нас обложила душмарня. Местность гористая, есть за какой камень спрятаться. Завязался бой. И вот – патроны кончились, гранат нет, как говорится, надейся на две руки. Пошла рукопашная. Это и есть экстремальная ситуация, в которой проверяется каждый на мужество – кто есть кто. И вот тут-то, дружище, оттренированными ударами начну нокаутировать душманя – не одну челюсть сломаю, к врагу буду беспощаден!

«Ты извини меня, Вовчик!» – подумал Сергей и сказал:

– Покажешь мне эти свинги?

– Все покажу! Это дело нужное. Вдруг на тебя или на кого другого напал бандюга с ножом, а ты его – раз! – приемчиком дзюдо или самбо – и порядок!

– Ты самбо и дзюдо тоже знаешь?

– Конечно! В спорткомплексе секции наши рядом. А ты приходи, приходи к нам – тренер у нас хороший!

Сергей не мог сказать другу, что у него нет времени, а объяснять причины не хотел.

– А насчет отца, Серега... Жалею я его, а понять, отчего он пьет, не могу. Я уже выработал свою тактику и стратегию, чтобы помочь ему. Нашел тайник, где он прячет свои поллитровки. Стал в початые бутылки подливать воду, а он пьет, закусьивает и говорит: «Водка нынче хоть и вздорожала – два корня едри их налево! – но горькости в ней а ни грамма, что твоя дистиллировка. Для трезвяков гонят – не для меня!» Потом заподозрил и передислоцировался. Теперь никак не могу найти новое место.

Сергей вспомнил, как отец разбил банку в бытовке, но промолчал об этом.

– А это на днях приходит кактус... маммиллярия четырехглая, – сердится на кого-то Володя. – Одним словом, этот... председатель домового комитета. Кричит эта маммиллярия четырехглая, размахивает руками – фон, словом, делает. «Элтэпе, – говорит, – то есть лечебно-трудовой профилак-торий его сформирует как человека и личность, так сказать, преобразует. Так как, – говорит ученым тоном, сняв очки, – дело идет здесь о достаточно выраженном и характерном в смысле развития, течения и клинической картины запойном синдроме, то испытываемый... извиняюсь, больной подлежит немедленным медицинским мероприятиям. Так-то вот!» И воззрилась на мать, как профессор на профана. Наверняка ведь вызубрила все это из энциклопедии медицинской.

Матушка слушала-слушала, потом открыла дверь и говорит: «Лучше б за своим синергическим баклажаном посматривала! Даром что на своих «Жигулях» шикует, а к нему не подойти – вокруг такой сорокаградусный космос, что хоть спутника запускай. А сейчас, диссертантка, – показала мать на выход, – проваливай, выметайся отселева подобру-поздорову! Ишь, единственного, – кричит, – кормильца хочет упечь в это элтэпу! Твой бугай будь здоров сколько получает, и ты, нахлебница и тунеядка, сидишь у него на холке, погоняешь его и поешь: «Миллионы, миллионы алых роз»! А мне надо латать дыры бюджета каждый день! Так что выметывайся отсюда вместе со своим элтэпо!» Мать у нас молоток, она всегда права! Там, в

этих профилакториях, – я читал в газете! – набросают всякой недочищенной ерунды в котел, залиют водой, поварят чуток – и ешьте, будьте добры, товарищи больные, эту свинячую бевку! Ишачат там профилактируемые за станками по двенадцать-четырнадцать часов, а получают кукиш в присыпку с солью! А медперсонал там называют не иначе, как солдафонами и рабовладельцами! Мы отца сами перевоспитаем и никогда не отправим его в эту резервацию... в эту тюрьму!

«Я тебя очень люблю, милый мой друг!» – сказал про себя Сережка, и ему хотелось обнять и поцеловать Силушкина.

4

Оксанка сидит рядом с Сергеем, и ее тонкая теплая рука ромашково-нежно касается Сережкиной руки. Отроку очень приятно исполненное радости прикосновение подруги, звучащее для него мелодией юной верности, и он хочет только одного: чтобы это прикосновение, похожее на дыхание весны, было всегда с ним. И вдруг покраснел, сердце взволнованно застучало, и ему стало казаться, что все в вагоне видят пунцовитость его лица и даже знают то, о чем он сейчас думает. Ему хотелось сбросить с себя любопытные взгляды; и чтобы отвлечься, одновременно мобилизуя волю, которая все же подавит в нем мешающее ему всюду и везде чувство стеснения, он невзначай глянул на отца с матерью. Он мысленно улыбнулся, ибо ему понравились родители: они смотрели уверенно и смело на сидящих напротив. И стеснение исчезло, растворилось.

«Нет маски у моих родителей, – восхищенно констатировал Сережка. – Не позируют и не играют. Мама и папа я вас очень люблю!»

...Сергей всю ночь не спал и думал о том, как ему с матерью будет грустно без отца в Загородном. Мать тоже не спала, стирала белье, и сквозь дверные щели до Сережкиного слуха доносилось тихое-тихое:

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

Кому пела мать? Может, отцу?

«Ей нужно отдохнуть. – Сережка сел на кровать, ибо не хотел лежа думать о стирающей в ванной матери. – Ну а мне? Зачем же мне?»

Анна легла за полночь. Поправила одеяло на сыне, поцеловала – словно нежно-теплый лепесток коснулся щеки Сережки, и он вспомнил: так однажды поцеловала его Оксанка.

Выглаженная накрахмаленная простыня была прохладной, и она, свернувшись калачиком, прижалась щекой к подушке, как к плечу Павла.

Разных встречала Анна на своем девичьем веку, но никто из них не оставил по себе добрую память. Для них-то и любви настоящей вовсе не существовало, а была одна лишь игра-забава. «Разуверились мужчины, что ли? – думала она. – Потеряли надежду? А может, обидела-обманула какая мымря? Потому и на всех смотрят искоса.»

Придет, бывало, разуверившийся к Аннушке, сядет важно на стул – нога за ногу, – нарочито рассматривая комнату, словно констатируя взглядом: девица хоть целомудренна, но того, с изьянчиком – плохо упакованная, то есть без приданого. И начинает глазами ползать по рельефным смачным окружностям тела, показывая всем своим видом, что только он один может талантливо загнипотизировать, творя потом сладчайшие, только ему ведомые замки страстей и чар. И уходил фанфаронистый принц не с новой победой, а с ощущением жгуче-неприятной оплеухи. Те же, кто, надеясь на свои бицепсы, хотел сломить, сграбастать, подмять, уничтожив все человеческое в девушке, те с криком выбегали на улицу. Анна была отчаянной: что было под рукой – стул ли, молоток, еще что, – то летело в пошляка и нахала; кроме того,

она знала несколько приемов каратэ. После того как Аннушка расправлялась с самоуверенным подонком, она смеялась, смотря в зеркало:

– Такая худенькая побила тяжеловеса!

Да, в комнатке у Аннушки ничего особенного не было: тахта, сервант, шкаф и пару старых стульев. И еще маленький холодильник «Морозко». Вот и все. О телевизоре она могла только мечтать. Но в душе у девушки было то, чего не было у ее подруг: умение любить, умение быть верной и доброй. Это бесценнее любых гобеленов, перстней и бриллиантов.

После детдома Аннушка первое время работала в ателье портнихой. Заказчики были Анной довольны: шила она добротнo, лучше всех, но зарабатывала не ахти сколько.

Как-то вызвал ее к себе в кабинет зав. Не смотря в ее глаза и постукивая ручкой по столу, сказал:

– Шьешь ты отменно, слов нет. Вот и благодарности одна за другой. Хоть езжай в заграницу и показывай твои шедевры на выставке. А что мне с того?! Мне план нужен! Понимаешь: план! – И тихо уже, жалея ее: – Копейки ведь получаешь. И как ты на эти сорок – пятьдесят в месяц живешь – не имею понятия? А ты же красивая – тебе и то и это надо... чтоб форму тела поддерживать спецдиетой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.